

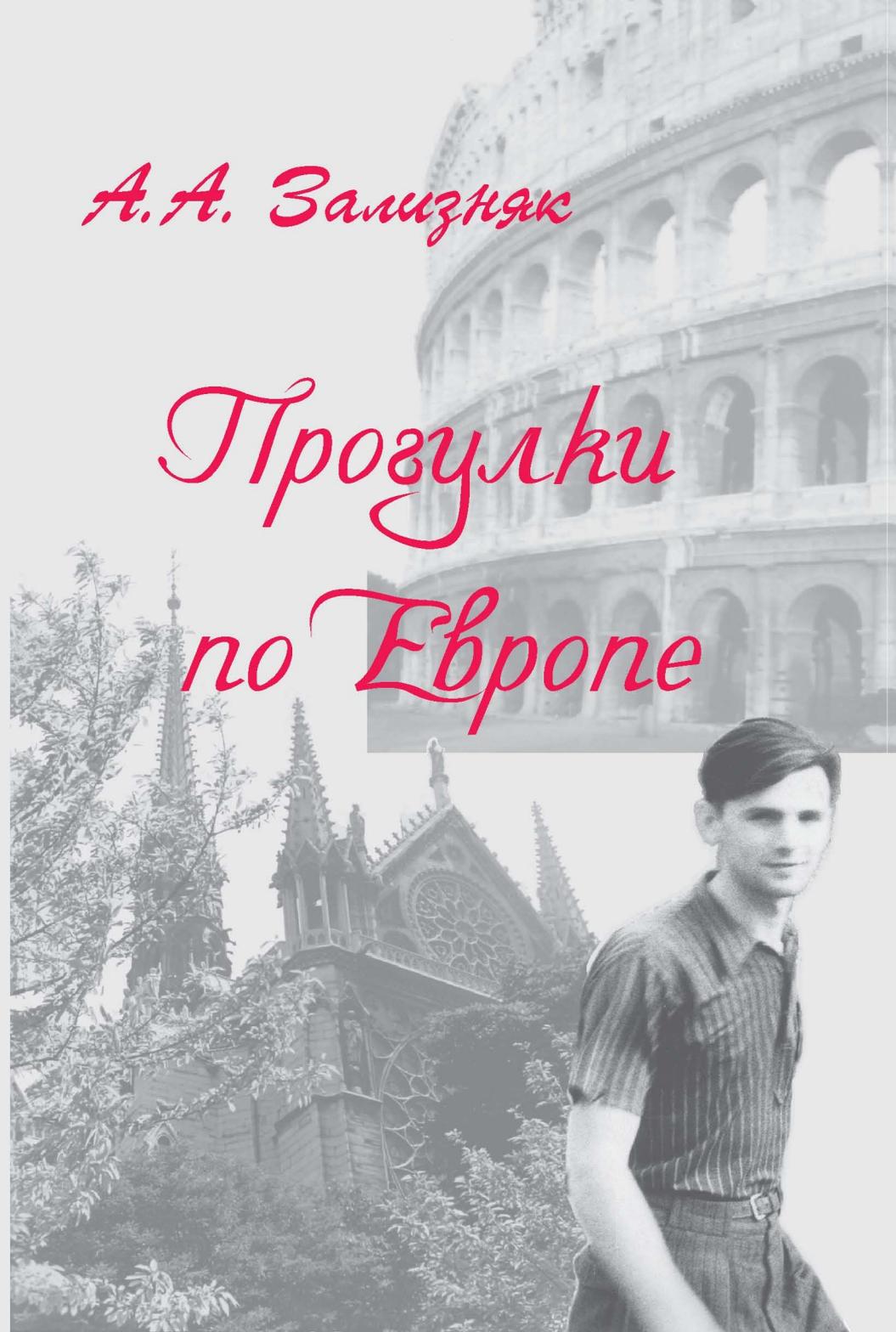


Прозулки по Европе

А.А. Замизняк

А.А. Замизняк

Прозулки по Европе



А. А. Зализняк

*Прогулки
по Европе*



Нестор-История
Москва • Санкт-Петербург
2018

УДК 82-43
ББК 83.3Р7
З-22

Издание осуществлено усилиями Института славяноведения РАН

При оформлении книги использованы фотографии из архива автора
На последней странице обложки – фото с картины Р. А. Минлоса 1965 г.
«Зализняк в Париже, или Вечная младость»

Зализняк А. А.

З-22 Прогулки по Европе / А. А. Зализняк. — М. : Институт славяноведения РАН; СПб. : Нестор-История, 2018. — 272 с., илл.
ISBN 978-5-4469-1350-3

В книгу вошли записки и фотографии из путешествий разных лет по странам Европы, прежде всего по Франции и Италии. Отобранные автором в 2004 г. дневниковые записки, выдержки из писем и воспоминания охватывают два разделенных большим перерывом периода — 1956–1957 гг., когда А. А. Зализняк, будучи студентом филфака МГУ, провел год во Франции, и 1988–2003 гг., когда, после падения «железного занавеса», автор совершал регулярные поездки в Европу, читая лекции, встречаясь с друзьями и просто путешествуя. Написанная с исключительной свободой и стилистическим блеском, книга представляет собой увлекательнейшее чтение, по-новому раскрывая многогранную и притягательную личность выдающегося лингвиста.

УДК 82-43
ББК 83.3Р7

ISBN 978-5-4469-1350-3



© А. А. Зализняк, наследники, 2018
© Е. А. Рыбина, предисловие, 2018

Предисловие ко второму изданию

Первое издание этой книги вышло в единственном экземпляре в 2005 г. Как это случилось? Близилось 70-летие Андрея Анатольевича Зализняка, и хотелось приготовить ему какой-то нестандартный подарок. Тогда и родилась идея издать книгу тиражом в один экземпляр, автором которой будет сам Зализняк. Вот история текста этой книги.

В 1956 г. произошло невероятное событие — студент IV курса филологического факультета МГУ Андрей Зализняк был отправлен на весь учебный год для продолжения образования в Париж. Поездка во Францию и почти целый год жизни в Париже были для него путешествием в иную реальность, в неизведанный мир, знакомый только по книгам и фильмам. Впервые оказавшись за границей, АА стал вести путевые заметки, чтобы запечатлеть все, что с ним происходило, что его занимало, удивляло и впечатляло во французской жизни. Несмотря на кажущуюся простоту языка и лаконичность изложения, чувствуется, что эмоции переполняли автора заметок. Ведь все было впервые и, казалось, никогда не повторится. Нынешним студентам, с легкостью передвигающимся по миру, это трудно понять.

Вновь АА оказался в Париже лишь спустя 32 года.

В конце 80-х годов прошлого века, когда рухнул «железный занавес» и поездки за границу стали свободными, Зализняк часто и подолгу бывал в Европе. Его

ежегодно приглашали читать лекции, как разовые, так и в течение семестра, в университетах Швейцарии, Германии, Италии, Франции. Он был штатным профессором Женевского университета. Так же как и в свое первое пребывание в Европе, АА вел записи.

Возвращаясь из поездок, он часто делился своими впечатлениями, вспоминал и свое пребывание в Париже в 50-е годы. А случалось с ним всякое. Поскольку АА ездил в Европу и передвигался по ней только на поездах, часто со многими пересадками, нередко в его путешествиях происходили разные казусы, иногда ситуации бывали драматичными, но обо всем АА рассказывал с присущим ему чувством юмора, легкой иронией. Мы всегда с большим интересом и удовольствием слушали его рассказы.

В 2004 г. рукописные заметки были переведены в электронный вид, и АА прислал их почитать нам с В.Л. Яниным. Чтение было настолько увлекательным и захватывающим, что, закончив читать, я на мгновение потеряла ощущение реальности. Такова была магия зализняковского слова!

Начался 2005 год, надо было готовиться к предстоящему юбилею АА. Я начала сканировать фотографии из его домашнего архива и свои собственные, чтобы сделать музыкальную видеопрезентацию биографии Зализняка. Одновременно мысль о подарке-сюрпризе для него не оставляла меня. Только в начале апреля в какой-то счастливый момент возникла идея сделать из его путевых записей настоящую книгу, сопроводив текст фотографиями. Были и сомнения — этично ли издавать личные заметки человека без его ведома? Однако, поскольку предполагаемая книга предназначалась для одного читателя, коим был сам автор, сомнения исчезли. Но где найти издателя на книгу тиражом в один экземпляр, которую нужно сделать в короткий срок? К счастью,

ученица Андрея Анатольевича Лена Гришина занималась в те годы изданием книг. К слову сказать, именно она издала два тома берестяных грамот (X и XI) и сборник к 70-летию В.Л. Янина.

Лена горячо поддержала мою идею, с ней мы обсуждали формат, переплет, обложку и название книги, набор иллюстраций и множество технических деталей. Не сразу появилось название, ведь надо было объединить две разных части, связанные только единством места. «Поездки в Европу»? – Скучно! «Путешествия по Европе»? – Банально и неточно! В процессе обсуждения родилось название «Прогулки по Европе», которое показалось нам самым подходящим.

Художественным оформлением книги, обработкой фотографий и их размещением в тексте занималась Лена Гришина, которой я передала фотографии для иллюстраций. Для оформления обложки она выбрала, как кажется, идеальный вариант – стремительно идущий молодой Зализняк на фоне римского Колизея. Особенно трудоемкая работа выпала на долю Марфы Толстой, которая в кратчайший срок подготовила верстку текста.

Книгу было решено вручить Андрею Анатольевичу на посвященном его юбилею Новгородском семинаре, который был назначен на 26 апреля 2005 г. События развивались стремительно, поскольку времени оставалось мало. 11 апреля я передала Гришиной фотографии для иллюстраций, 19 апреля была закончена верстка текста, и уже 20 апреля Лена привезла готовый оригинал-макет книги, который в оставшиеся до семинара дни нужно было переплести.

С этим тоже повезло. В Историческом музее в отделе реставрации фондов работала и до сих пор работает Татьяна Викторовна Авдусина, прекрасный специалист по реставрации переплетов старинных книг, а при необходимости и изготовлению новых. Она-то и взялась

сделать переплет в короткий срок. 21 апреля я отвезла книгу в переплет, для изготовления которого требовалось несколько дней.

Наступило 26 апреля, по дороге в университет я встретила с Татьяной в метро и получила готовую книгу. Мне она сразу очень понравилась. Это была настоящая книга, оформленная по всем правилам типографского и переплетного дела! На всех этапах она делалась с большим энтузиазмом и любовью к ее автору.

Новгородский семинар 26 апреля начался с научных сообщений А.А. Зализняка и А.А. Гиппиуса о новых поправках к чтению изданных грамот. После этого было объявлено о выходе новой книги А.А. Зализняка «Прогулки по Европе», которую презентовал В.Л. Янин, с присущим ему юмором. Сама книга и ее уникальность произвели ошеломляющее впечатление на всех присутствующих, и прежде всего на самого автора. Идея столь необычного подарка и ее воплощение ему явно понравились. Сюрприз удался!

Когда через три дня я пришла к АА на день рождения, он похвастался, что добавил еще несколько фотографий в книгу. Я поразились: «Как это возможно!» АА показал мне книгу, и я с трудом отыскала в ней вклеенные им фотографии. На этом его участие в создании книги не кончилось. Как автор текста, АА захотел добавить много новых иллюстраций и сделать ко всем фотографиям подписи. В мае – июне он подбирал фотографии, передавал их для обработки Гришиной, после чего вклеивал в книгу. Окончательный авторский вид книга получила в сентябре 2005 г., когда АА вклеил в конце свой список иллюстраций.

После внезапной кончины Андрея Анатольевича в декабре 2017 г. близкие друзья и коллеги решили переиздать эту книгу, чтобы познакомить читателей с еще одной гранью его таланта.

Завидую читателям, которые впервые познакомятся с путевыми заметками Андрея Анатольевича Зализняка. Их чтение настолько увлекательно, что невозможно оторваться. Я знаю многие истории наизусть, но всякий раз, открыв книгу (пока в электронном варианте) в произвольном месте, начинаю ее читать и не могу остановиться.

*Елена Рыбина
Москва, февраль 2018 г.*

От издателей

В настоящем издании текст книги печатается по авторским файлам, в которые А.А. Зализняк внес несколько последних уточнений в мае 2006 г., — без изменений и комментариев. Немногие необходимые исправления касаются размещения иллюстраций и подписей к ним, пунктуации, а также нескольких замеченных опечаток. Фотографии получили подписи из авторского списка иллюстраций. Размещение иллюстраций изменено в соответствии с требованиями полиграфии. Добавлено несколько фотографий из авторского резерва иллюстраций к книге, а также две фотографии, сделанные С.А. Орловым на презентации первого издания 26 апреля 2005 г., и более поздний (2009 г.) парижский снимок. Пунктуация текста в отдельных случаях минимально откорректирована в соответствии с принятыми сейчас нормами.

В подготовке настоящего издания участвовали М.А. Бобрик, А.А. Гиппиус, Анна А. Зализняк, Е.А. Рыбина, М.Н. Толстая, Р. Факкани.

ББК 83.3Р7

3 55

*Издание осуществлено при моральной поддержке
В. Л. Янина и Л. А. Бассальго*

Автор идеи – Е. А. Рыбина

При оформлении книги использованы фотографии из архива автора
На последней странице обложки – фото с картины Р. А. Минлоса 1965 г.
«Зализняк в Париже, или Вечная младость»
На форзацах – акварель флорентийского
художника Michele Fasciano

Зализняк А. А.

3 55 Прогулки по Европе / А. А. Зализняк. – М.,
2005. – 237 с.

ISBN 5-1935-2005-4-29

В этой книге крупнейший лингвист современности делится с читателями своими воспоминаниями о путешествиях разных лет по странам Европы, прежде всего, – по Франции и Италии. Книга содержит выдержки из записных книжек автора. Богатый иллюстративный материал позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описанных путешествий.

Книга предназначена для самого узкого круга читателей, желающих провести несколько часов за упорным чтением, а также для самого автора, которого его друзьям хотелось бы приятно удивить.

ББК 83.3Р7

ISBN 5-1935-2005-4-29

© А. А. Зализняк, 2005

Оборот титула первого издания (2005)

Из парижского года 1956–57

[Записано в 2004 г. Везде, где возможно, сохранены записи того времени; но во многих случаях записи были слишком кратки и пришлось добавлять по памяти. Без всякого редактирования (если не считать пунктуации) приводятся выдержки из писем того времени (все письма — от меня маме). Из кино и театров упоминаю лишь очень небольшую часть — самые запомнившиеся.]

Год предыстории

Началось с того, что в сентябре 1955 года, когда я только что перешел на 4-й курс, меня неожиданно вызвал к себе замдекана Зозуля. Ничего хорошего такие вызовы обычно не сулили, и я приготовился к круговой обороне. После первых пустых фраз Зозуля спросил: «А кстати, как у вас обстоит дело с французским языком?» Я лихорадочно стал вычислять, чем этот вопрос мне грозит. Возможно, меня хотят приставить к какой-нибудь иностранной группе — по одному такому опыту мне это дело страшно не понравилось: потом отвратительные начальники будут требовать отчетов и доносов. Я ответил: «Да я его почти что и не знаю. У меня ведь основной язык английский, а французским я просто чуть-чуть занимался самостоятельно». — «Да? — сказал Зозуля. — Ну а, допустим, лекцию на французском языке вы могли бы понять?» Хотя в тот момент я еще даже в самом вольном во-

ображении не мог допустить того, чем все это потом оказалось, я все же заподозрил, что тут могло быть что-то интересное. «Ну, это, — сказал я, — может быть, и смог бы». — «Ну а учиться во французском университете вы могли бы?» Это было подобно внезапно разверзшимся небесам. С трудом сдерживая дыхание, я ответил: «Ну в этом-то уж совершенно никакой проблемы! Без всякого сомнения!»

Почему при наличии целого французского отделения выбрали меня, студента английского отделения? Ответ я узнал много позднее. Он оказался совершенно советским: ни на одном из пяти курсов во французской группе не было ни одного мужчины! А в разрядке от высшего начальства значился мужчина: девицы считались слишком ненадежным человеческим материалом для посылки за границу. Факультетскому начальству не хотелось признавать, что они не могут выставить ни одного человека по представленному заказу. И, видимо, кто-то сказал, что, дескать, у нас есть один такой отличник, который занимается разными языками. Думаю, сыграло роль и то, что по прочной советской традиции гораздо более подходящими для посылки за границу считались не те, кто знал иностранный язык хорошо, а как раз те, кто знал плохо, а еще лучше, чтобы совсем не знал. Так что реальное знание языка никого всерьез не беспокоило. А комсомольская репутация у меня была достаточно благополучная.

Началось хождение по иностранным отделам и инструктажи. Все делалось спешно: ведь учебный год уже начался. Отъезд, как мне сказали, будет через неделю или две. Я бросился изучать карту Парижа и различные энциклопедии, спешно подучивать язык.

Постепенно стало выясняться, однако, что формула «через неделю или две» действительна для любого момента, когда бы я ни позвонил в иностранный отдел, — в октябре, ноябре, декабре... «А как же мне быть с зимней сессией?» — спросил я. — «На всякий случай сдавайте», — отвечал иностранный отдел. В такой же перманентной предотъездности прошла зима и весна, и я уже без всяких выяснений пошел сдавать летнюю сессию. А после этого махнул рукой и, плюнув на требование не отлучаться из Москвы, в августе пошел в байдарочный поход по Днестру. В Одессе меня ждало сообщение до востребования о том, что нужно срочно прибыть в Москву для отправления в Париж.

Еще один инструктаж, на этот раз не где-нибудь, а на Старой площади, в ЦК КПСС. После полагающихся слов о долге перед Родиной и т. п. переходят к существенному — о женщинах: «Годик надо железно потерпеть».

И вот, после года сидения на чемоданах, когда надежда уже практически угасла, отъезд все-таки состоялся.

Сентябрь 1956

Пятница 21 сентября 1956. Самолет Москва–Хельсинки, лечу с Колей Ананьевым (он из Инъяза). Умом понимаю, но все равно кажется поразительным: сверху совершенно не видны границы! Далее Хельсинки–Копенгаген. Далее Копенгаген–Париж самолетом Air France. Уже ночь.

Париж появляется под крылом в виде моря, океана огней. Вдруг этот огненный мир встает верти-

кально: самолет делает полукруг. И вот уже несутся назад синие наземные огни. «Au revoir, Messieurs-dames!»

В аэропорту сюрприз: никто нас не встречает.

Человек в форме обращается ко мне: «Voulez-vous faire une déclaration, Monsieur?» Что это значит? Неужели вот так прямо, в первую же секунду меня спрашивают, не хочу ли я сделать заявление о том, что я выбираю свободу? Собираюсь в комок и хрипло произношу «Non!». С совершенно равнодушным видом — нет так нет — пропускает меня.

Но надо как-то добираться до города. Подхожу к такси: «Сколько стоит до rue de Grenelle?» В ответ цифра для нас совершенно фантастическая. Но вот подходит автобус Air France с надписью Londres — для прибывших из Лондона. Решаемся влезть в него. Рассказываем водителю о себе. Он заинтересован, приветлив, только просит на память советскую монетку; нашлись 15 копеек. Автобус постепенно заполняется и трогается.

И вот уже городские улицы. Сердце начинает бешено биться. Пытаюсь разглядеть надписи, но все мелькает слишком быстро. Сколько дней я просидел в Москве в библиотеке над картой Парижа! даже перерисовал ее своей рукой. Вдруг автобус тормозит перед красным светом и я ясно читаю: Place d'Italie. «Place d'Italie! — кричу я Коле в яростном возбуждении, — сейчас мы повернем налево!» Коля, которому нестерпимо стыдно за меня, шепчет: «Ну молчи или тихо говори, если знаешь, а главное, пальцем не показывай!»

Аэровокзал: les Invalides. Отсюда до rue de Grenelle уже рукой подать, мы доберемся пешком. И вот

мы на пороге посольства. «Ваши документы! Только что прилетели? Нас никто о вас не извещал». Отправляют нас в гостиницу Pont Royal на rue du Bac, где уже живут другие наши студенты.

Суббота 22-е. Мне нужно где-то найти почту и отправить телеграмму домой. В Москве на инструктаже нам было объявлено железное правило: ходить по городу мы имеем право только вдвоем, в одиночку ни в коем случае нельзя. Добросовестно ищу себе напарника. Но мои сотоварищи заняты: играют в пинг-понг в подвале посольства. «Но мне же обязательно нужно!» В ответ мне смеются: «Если нужно, так и иди!» Они-то уже порядочно прожили здесь. И я начинаю догадываться, что между Москвой и Парижем разница не только в трех тысячах километров.

И вот я впервые один на парижской улице. Бульвар Сен-Жермен. Реклама, вывески, надписи — всё плывет навстречу, сливаясь в один неразличимый поток. Внимание ни на чем не может остановиться. Журнальный ларек — смотрю и ничего не вижу: на меня глядят сто цветных обложек сразу... Может быть, потому, что так много яркого солнца и так ослепительно сверкают витрины, слегка кружится голова и больно глазам. Чувство нереальности происходящего не отпускает.

Названия улиц почти все знакомы, и каждая надпись дает какой-то странный резонанс в душе. Ощущение, что ты всё это прекрасно знаешь, только просто еще не видел. Вот если сейчас поверну налево, то выйду к Сене у самого Нотр-Дама. Поворачиваю — он действительно стоит на своем месте. В свете солнца ровно там, где и должны быть, поблескивают химеры.

Ближайшие дни провожу на улицах, пересекая город во всех направлениях, практически все время с утра до вечера. Разумеется, никогда не спрашивая дорогу: это вопрос чести.

27-е. Фотографирую мальчишек на заборе. Неожиданная реакция: «Merci!»

28-е. Трокадеро. Играют малыши, совсем крошки — ничего необыкновенного. Но вот что совершенно поразительно: они говорят по-французски!

Вечером в театре Olympia знаменитый Eddie Constantine, американец. Публика принимает его восторженно. И вот он объявляет новый модный американский танец: rock and roll. На сцене появляется девица-конферансье — и тут же становится его партнершей. Зал хлопает в ритм в ладоши, топает ногами, беснуется. Но постепенно поднимается также и свист. Танец прекращается. Eddie Constantine что-то объясняет публике, но слов уже не слышно.

Воскресенье 30-е. Появился Мишель Окутюрье, которому я позвонил. Едем вместе к Клоду Фриу. (С ними двоими я знаком по Москве — это были первые французские студенты, присланные по обмену в МГУ; но сейчас они уже работают — один в Тулузе, другой в Страсбурге, — и в Париже их можно найти только в воскресенье.) Оба в один голос говорят мне: «Тебе нужно поступить в Ecole Normale. Ты сейчас еще все равно не сможешь понять, почему это хорошо, — поймешь, когда поступишь».

Слушаем испанские народные песни в исполнении Жермен Монтеро. (Это единственная пластинка, которую я потом привез в Москву.)

Решаю: всё, чего не знаю, буду спрашивать, ссылаясь на разницу обычаев. Хорошо помогает. С языком немножко легчает.

Октябрь

Среда 3 октября 1956. Появился Анри Гросс, который тоже провел год в МГУ. Зовет меня к себе в Сен-Рафаэль, на Средиземное море.

Все время наталкиваюсь на русских таксистов. Один из них рассказывает: уехал в 1920 году — Галлиполи, потом Париж. С 1936 года переписка с родными оборвалась. Копит деньги, чтобы съездить в СССР — посмотреть. Но уезжать, конечно, не станет: здесь у него дом, огородик; брат женат на француженке, племянница уже почти не знает по-русски, да и брат сильно подзабыл язык. И шоферский заработок его устраивает. «Я сперва скучал, а теперь уж к Парижу привык».

В кино перед началом фильма показали документальный широкоэкранный фильм «Феерия в Бразилии» о карнавале в Рио-де-Жанейро. Понравился чрезвычайно — сильнее всех виденных пока что художественных фильмов. Снят буйно, фантасмагорически. Запал в душу. Много раз вспоминал его потом, например, когда смотрел «Черного Орфея».

4-е. Фриу отвозит меня в Ecole Normale и представляет вице-директору Прижану. Тот любезен, дикция артистическая, как на уроке французского языка. Фриу проводит меня по Ecole Normale, показывая все ее прелести и секретные закоулки. Знакомлюсь с золотыми рыбками в бассейнике внутреннего двора — les Ernests, по имени знаменитого историка Эрнеста Лависса, который был в 1904–1919 гг. директором Ecole Normale. Фриу объясняет, что здесь были и Пастер, и Ромен Роллан, и Шарль Пегги... Школу открыл

Наполеон, чтобы готовить верные императору преподавательские кадры. Но она всегда отличалась левым направлением. Был даже случай, когда какие-то провокаторы вывесили над ней красный флаг. При всех революциях правительство начинало с того, что ее закрывало, — в 1848, в 1870. До меня начинает доходить, что место хорошее.

Прижан дает мне записку для библиотекаря школы: «Monsieur Zalizniak qui sera sans doute notre élève...» Сообщаю Фриу, что дело уже практически сделано: Прижан написал «без сомнения будет нашим учеником». Фриу смеется и мягко объясняет мне, что *sans doute* — это всего лишь «может быть»: французские выражения быстро изнашиваются. А «без сомнения» — это *sans aucun doute*.

Пятница 5-е. Вечером у нас в гостях Миша Васильчиков, из потомков старой эмиграции, с невестой Жаклин. От Жаклин — сильнейшее впечатление. Когда вошла — стало даже горько за то, что Бог так обидел женщину внешностью. И вот мы проводим вечер, и Жаклин в общении оказывается такой бесконечно обаятельной, что все очарованы. К концу вечера мы не верим своим глазам: да она же, оказывается, красива! Такой получился сверхнаглядный урок того, что такое французская красота.

Воскресенье 7-е. Кино: «Gervaise» Рене Клемана. Вечером, гуляя по темным улицам около *Comédie Française*, как-то задумался, замечтался — и лишь совершенным чудом успел козлиным прыжком отпрыгнуть назад от машины, которая выскочила на большой скорости. Оказывается, я был посреди мостовой. А водитель даже не успел начать тормозить. Когда я

осознал, что произошло, уже исчезли даже его задние красные фонари. Вот, думаю, как быстро могла закончиться моя изумительная французская эпопея. Урок запомнил.

Вторник 9-е. Являюсь к Прижану и он ведет меня представлять самому директору Ecole Normale философу Ипполиту. Происходит нечто вроде изящной формы собеседования — о Паскале, о Пикассо и т.п.

Среда 10 октября. Иду, как мне велено в Ecole Normale, в Министерство иностранных дел. Адрес мне известен даже из советских газет: Ке д'Орсе. Этот совершенно условный звук здесь разворачивается в реальную длинную набережную Орсе; прохожу всю ее пешком. Никогда в жизни не бывал в учреждениях столь высокого ранга. Поражаюсь тому, что меня никто не задерживает и не проверяет. Без особого труда нахожу нужную комнату. Важная дама подробно допрашивает меня о всех моих прошлых и будущих занятиях; спрашивает даже названия курсовых работ! К счастью, Вячеслав Всеволодович Иванов снабдил меня списком всех парижских профессоров, у которых следует слушать лекции, — с твердым наказом: лекции надо выбирать не по тематике, а по лекторам. В результате дама дает мне рекомендательное письмо в полицию: «Avec ça ça ira tout seul» (с этим все пойдет как по маслу).

11 октября. В префектуре на основании письма от дамы за час получаю carte de séjour (вид на жительство). В посольстве выразили неудовольствие моей самостоятельностью: все подобные документы они получают (или не получают) для советских сами. Полагаю, что уже с этого момента я у них не на

лучшем счету. Но за границей не орут на подданных как в Москве: мало ли что из этого может выйти...

Из письма от 11 октября 1956

В Сен-Рафаэле я пробуду 10–12 дней. Обратнo Гросс повезет меня через всю Францию на машине. Перспектива действительно чудесная. Между прочим, оцени прогресс: я один, без всякого присмотра проведу две недели за 800 километров от наших организаций в чисто французской среде. Только не бойся, пожалуйста. Всё будет великолепно: здесь мы не встречали никаких проявлений или намёков на враждебность или что-нибудь подобное. Везде самое любезное отношение. Кроме того, я еду уже с французскими документами и при желании могу вообще никому не говорить, кто я. Скажу, например, англичанин.

11 октября (продолжение). Еле успеваю на Лионский вокзал к поезду 21.50 на Марсель. Известить Анри Гросса не удалось, так что еду без предупреждения. Поезд набит. Многие стоят. Сажу на чужом чемодане, с любезного согласия хозяина. И так всю ночь.

12-е. За окнами начинает светать. Авиньон. Пролетаем Тараскон. Остановка в Арле. И вот уже море и Марсель. Видно, что это что-то большое и значительное, но с Парижем в моих глазах уже ничто не может сравниться.

Поезд на Вентимилью («Вот это да! Вентимилья — это же уже Италия!» — щелкает в голове). Часа два пути, и я в Сен-Рафаэле. С поезда сходят, считая меня, два человека. Совершенно пустынно. Телефон Гросса не отвечает. Иду по адресу — с приятным холодком от мысли о том, в каком невероятном конце света я сейчас нахожусь. Здесь уже не обойтись без распро-

сов. В конце концов оказываюсь в кондитерской, хозяйка которой мне говорит, что Гроссы уехали на весь день. Ухожу гулять по городу. К вечеру вся семья уже на месте: родители Гросса и брат Мишель с молодой женой Мишель.

Из письма от 16 октября 1956

Представь себе, например, такое: с маленьким портфельчиком в руке — приблизительно с таким же разъезжал я когда-то по городам Крыма — я выхожу вечером из отеля. До поезда, как всегда, считанные минуты — без такси не обойтись. Останавливаю первого проезжающего таксиста: «На Лионский вокзал!» И вот уже мелькают здания Лувра, мосты, улицы, набережные Сены... Вбегаю в здание вокзала, беру самый дешевый билет, спрашиваю номер платформы — все это страшно привычно и в то же время фантастично, почти нереально. Экспресс Париж—Марсель. Второй класс забит напроць — солдаты и матросы; многие из них — в Алжир. Трогаемся. Неприглядные здания парижских пригородов. Через 15 минут хода скорость уже чудовищная — конечно, больше 100 км/час. Ночь. Всё страшно похоже на фильм «Тереза Ракен». Это ведь тот же самый поезд; только тот шел обратно, из Марселя в Париж. Шалон. Даже вздрагиваю — помнишь, в фильме тот, убийца, — он сошел в Шалоне. Самая большая разница — те-то ехали в первом классе, их было трое в купе; у нас же везде полно; я прикорнул на чем-то чужом чемодане в коридоре — мне ведь не привыкать. Макон, Лион, Валанс, Авиньон... Светает. Сейчас проедем Тараскон — самый настоящий, из настоящих домов и деревьев. Сфотографировать его? Но куда там! При скорости 130 км/час крыши городка пролетают мгновенно.

Марсель. Море. Огромная афиша: «Марсель — перекресток мира!» А еще через некоторое время еду на электричке (опять с фантастической скоростью) вдоль Лазурного берега. Поезд через Тулон, Канны, Ниццу, Монте-Карло идет в Италию. Но на этот раз мне до Италии не придется доехать. Выхожу в Сен-Рафаэле. Телеграммы не давал; никто не встречает — привычное дело. И вот с портфельчиком иду по маленькому городку Французской Ривьеры, спрашиваю у встречных дорогу. Где-нибудь в Алуште всё это было бы очень похоже...

⟨...⟩ Отношение ко мне в семье [Гроссов] — самое хорошее. ⟨...⟩ Все-таки у французов удивительный характер. Смех, шутки, поддразнивают друг друга — все время. ⟨...⟩ Обед и ужин — самое интересное время. За час слышишь столько шуток, насмешек, пикировки, смеха. А я еще не все понимаю, то есть на деле еще больше...

[Далее идет рассказ о едах.] Надо сказать, что кое в чем они действительно меня переубедили; о «крепком» сыре я уже писал; кроме того, конечно, полусырой бифштекс — я уже почти согласен с ними, что в Советском Союзе совершенно не понимают, как надо готовить мясо; в-третьих — здесь почти всегда разбавляют вино водой; в здешних условиях я это весьма оценил, как средство не терять работоспособности. Как меня дружно уверяют все французы, мне осталось теперь только полюбить устриц, улиток и лягушачьи ножки. Смеются безудержно, когда говоришь им, что это-то и вызывает у русских наибольший ужас. Поглядим — увидим.

Ты не подумай, что я столько этой гастрономии места уделил, потому что мне здесь делать нечего кроме как гурманствовать; просто в первые недели это была немаловажная часть моих затруднений и

хочешь не хочешь, а определенного внимания требовала.

Тебя, наверное, интересует, как я вообще еще не погиб здесь, загрязнев, запаршивев, забородатев и овшивев. Так вот нет же. Бреюсь через день; первое время казалось, что я только и делаю, что бреюсь. Присматриваю себе электробритву — надо только скопить денег. Стираю, глажу, пришиваю пуговицы сам. Купил себе нейлоновую рубашку, которая стирается в холодной воде и которую не надо гладить. Вот так.

13 октября. Семейные обеды у Гроссов — спектакли остроумия, поддразнивания и задиранья друг друга. Мне достается не меньше других. Пойман на том, что уже готов был обидеться («сколько же можно донимать человека непрерывным taquinage!»), и опозорен за это. Тоже славный урок. Еще и великолепнообразом припечатан: «Между прочим, по-французски taquinerie, а не taquinage!».

17-е. Большая автомобильная экскурсия: Канны, Ницца, Èze, La Turbie, Монте-Карло. Знаменитое казино, на нем доска в честь Дягилева. Объясняют, что здесь много русских; вот, например, отель Rodnoï. Получил на почте, где покупал марки Монако, сдачу — две монеты Монако по 50 франков с принцем Ренье.

19-е. Фрежюс. Идем купаться; вода, впрочем, уже не слишком теплая. Мне показывают фрежюсские балконы: «Смотрите, они здесь как в Испании».

20-е. Вечером общий отъезд. Предстоит не торопясь пересечь почти всю Францию с юга на север на машине. Ночная дорога при луне. Первая ночевка — в Эксе (Aix-en-Provence). Гостиница La mule poire. Смотрят паспорта. Доходит очередь до меня. «Это со

мной», — решительным тоном говорит Гросс-старший; он явно не хочет, чтобы начиналось разбирательство с моим экзотическим гражданством. Служащий кивает.

21-е. Гуляем по Эксу: Cours Mirabeau, университет Экс–Марсель, собор, старинные дворы, базар. Отправляемся дальше. За рулем попеременно Гросс-отец и Мишель; скорости огромные. Авиньон: дворец пап. Vaison la Romaine: великолепный римский театр. Проезжаем Монтелимар, столицу горчицы. К ночи мы в Лионе; успеваем еще совершить ночную прогулку по городу.

22-е. Из Лиона продолжаем путь на север — через Бургундию и Шампань. Остановка на обед в Отэне (Autun, некогда Augustodunum). «Отэн — правильное место для того, чтобы в своей программе ознакомления с Францией вы попробовали улиток (escargots)», — говорят мне Гроссы. Приносят: каждая в своей отдельной чашечке размером с крупный наперсток. Пробую — оказывается великолепно. Правда, за вкуснейшим соусом и приправой трудно уловить, что именно приходится на саму улитку. Своей реакцией доставляю хозяевам искреннейшее удовольствие.

Проезжаем Auxerre и Sens. Уже темнеет, когда въезжаем в лес Фонтенбло. И вот конец пути: Рамбуйе, дом Гроссов под Парижем.

26-е. Париж. В Ecole Normale, на приеме у Прижана: «Вы приняты, вселяйтесь 30-го».

Воскресенье 28-е. Визит к Андре Мазону, славистическому патриарху. Любезен. Извиняется, что немного отвык от русского языка, говорит по-французски.

29-е. Визит проректора МГУ Вовченко в посольство. Пожелал видеть студентов. Удивлен, что в группе есть и один настоящий университетский (то есть я; все остальные из Ингъяза): «А мне казалось, я всем вам сам выписывал перед отъездом университетские студенческие билеты».

Из письма от 29 октября 1956

Произошла революция в моей личной жизни — купил себе электробритву (поднатужиться пришлось немало — стоит она 7000 франков). Это, по-видимому, пока самое сильное впечатление от западной цивилизации (в узком смысле, конечно).

Среда 31 октября. Переселяюсь в Ecole Normale. Никого нет, но на столе плащ и «Populaire» — газета социалистической партии. Потом мне рассказали, какое бурное было в Ecole Normale обсуждение: с кем поселить советского? Для них, разумеется, любой человек — это прежде всего остального член такой-то партии. Первая мысль была: поселим, конечно, с коммунистом. «Скучно, пошло! — закричали другие. — Давайте, наоборот, поселим его с фашистом!» Решили, однако, что это тоже довольно плоско. Придумали несравненно более изысканное: поселить с социалистом. Вот где они по-настоящему сцепятся! (Как потом выяснилось, они ужасно просчитались: мой деликатнейший и тактичнейший социалист ни разу за весь год не вступил со мной ни в какую политическую дискуссию.)

Во второй половине дня меня принимает у себя, на rue Monticelli, Бенвенист. Разговор продолжается довольно долго, но без всяких чашечек кофе и т. п.

Разговаривает очень серьезно, не сверху вниз. Один раз только не сдержал улыбку, когда на какой-то его вопрос («есть ли такие русские, которые произносят...») я ответил уже подхваченным уличным парижским *у'ен а*.

Подробно обсуждает вопрос о критериях разграничения языка и диалекта. Наиболее объективным считает критерий взаимопонимания. Родство (или точнее, близость) языков можно оценивать в строго синхроническом плане; для этого необходимо выделить весь комплекс общих характерных черт. С другой стороны, Бенвенист считает возможным и полезным учитывать фактор осознания языкового единства, например, определенное чувство принадлежности к широкому языковому кругу, существующее у славян. Спрашивает, какова степень взаимного понимания русских и украинцев. Я пытаюсь доказывать, что эта степень меньше, чем он полагает (по его мнению, это единый язык).

О методе сравнения языков Бенвенист говорит: мы навсегда покончили сравнение отдельных фактов, отдельных парадигм, отдельных слов. Современное сравнительное языкознание обязано полностью изучить *синхронически* все привлекаемые лингвистические *системы*. Это изучение должно быть таким же тщательным, как современные синхронические описания новых языков, и однотипно по методам. Затем приступают к сравнению и сравнивают одну лингвистическую *систему* с другой. То же — при сравнении двух этапов развития одного и того же языка.

Ночью лег спать, накрывшись снятыми ширмами: постели еще нет.

Из письма от 8 ноября 1956

Главное я сделал: с Бенвенистом я виделся, он обещал мне содействие, помощь в выработке рациональной программы и в некотором роде руководство.

Ноябрь

Четверг 1 ноября 1956. Проснулся — моего социалиста все нет. Начальства нет, все закрыто: la Toussaint (день всех святых). В Ecole Normale меня до 2 ноября еще не кормят. Отправился, по совету своих покровителей, в дешевый ресторанчик Julien на rue Soufflot — для студентов и бездомных.

Влез на Нотр-Дам к химерам. Париж слегка затянут белёсым туманом. Очень красива внизу набережная Сены. Деревья — ярко-желтые. По площади ходят крохотные человечки. Потом еще посидел в полумраке внутри собора на службе. Черные от времени готические своды, романтическая аура, навеваемая словами «Собор Парижской Богоматери»... Действует сильно.

Вечер у Фриу. Знакомит меня с языком Ecole Normale: pot — 1) еда вообще, 2) обед, 3) столовая Ecole Normale, 4) интендант; tapir — платный репетируемый. Теперь я уже смогу понять объявления: «Pots de thurne, à cause d'une longue tradition sont autorisés», «Les thurnes N°N°... servent au tapirat; la tapirisation dans les autres thurnes est interdite».

Потом Фриу везет меня на «Il bidone» Феллини; очень рекомендует мне его «Дорогу», которую я еще не видел. Еще часа два потом обсуждали, сидя в маленьком ресторанчике Латинского квартала, так что вернулся в Ecole Normale поздней ночью. И ничего!

— полная свобода режима, в отличие от Cité Universitaire.

Спать залег снова под теми же снятыми ширмами.

Пятница 2 ноября. Меня разбудил Жан Метейе, мой cothurne (сосед по комнате). Знакомимся. Он классик, в Ecole Normale второй год. Тоже 1935 года рождения, так что я неофициально считаюсь теперь как бы приписанным к его курсу. Позже я узнаю, что его отец — один из главных деятелей социалистической партии; в нынешнем социалистическом правительстве Франции он военный министр. Но мой Метейе с явным неудовольствием относится к любому упоминанию в его присутствии его отца. Родители Метейе живут под Парижем (в Шату), и он имеет полную возможность жить дома. Но реально он уезжает из Ecole Normale домой только на воскресенье, иногда еще на субботу.

Днем иду на коллективное интервью советских студентов для журнала France-URSS. В посольство надо ходить на хор. Манкировать не положено: это такое место для поддержания должного уровня патриотизма и ностальгии.

Метейе добыл мне постель.

Венгерские события продолжаются уже 10-й день. В Египте интервенция. Французская северная Африка на грани войны. Всё это вижу в actualités в кино.

Суббота 3-е. Завтрак проспал: он, оказывается, начинается в 7 часов, а в 9 идти в столовую уже бесполезно — съедают все чисто. Иду в бельевую сдавать белье. Принимает молодая женщина. «Вы из СССР? Неужели? Вот мой билет КПФ, смотрите! Вот пор-

трет Сталина, никогда с ним не расставалась, а теперь оказывается, что же? — сами видите... Все-таки он, наверное, слишком доверял Берии...» И еще довольно много в том же духе. «У нас все члены партии между собой на ты. Вот встречу Мориса Тореза — скажу ему ты. А у вас? Среди персонала только я одна член партии. Среди учеников — около двадцати. Вот году в 46-м — 47-м было другое дело — тогда было больше шестидесяти». И потом: «Это и все, что у вас есть из белья? Так мало? Приходите в понедельник, для вас я все сделаю в два дня, другое дело, если бы еще кому-нибудь».

Среда 7 ноября. Мне указано, что в моем пиджаке и ботинках нельзя появляться на посольском приеме в честь 7 ноября (а о том, чтобы не явиться на прием, не может быть и речи). Выручает Метейе: едет со мной в магазин Louvge, и мы покупаем и то и другое: «Это так, для срочности, — говорит он, поскольку костюмчик дешевенький, для приемов, по его понятию, мало пригоден. — Настоящий костюм мы тебе купим к Новому году». (Мне он прослужил потом в качестве парадного, если не ошибаюсь, лет двадцать пять.) Выдают костюм как есть, раз он нужен уже сегодня, но с тем, чтобы завтра принес снова для подгонки.

В городе антисоветские демонстрации. На всех подходах к советскому посольству внутренние войска в черных касках. Пропускают к посольству только по документам о том, что ты из СССР.

5–8 ноября. В Ecole Normale ритуал инициации conscrits (только что принятых, новобранцев). На меня он не распространяется; старшие — Луи Ален и

Луи Мартинез, которые как бы взяли меня под опеку, только водят меня смотреть на эти забавы. (Разумеется, иностранцы избавлены от этого ритуала не потому, что их жалеют, а потому, что им не положен тот полноценный статус, дорогу к которому он открывает.) Первобытная основа здесь, конечно, та же, что на Новой Гвинее и в отечественной дедовщине. Но во французском исполнении это все же поэлегантнее и поостроумнее. Старшие изощряются в том, какую бы каверзу устроить в комнатах новобранцев. Украли у них, например, все одеяла и вывесили на веревке, которую умудрились протянуть между двумя зданиями Ecole Normale на высоте пятого этажа. Специальный трибунал из старших делит всех новобранцев на пятерки и дает каждой пятерке какое-нибудь издевательское задание, например, доставить в Ecole Normale дощечку с надписью Place de l'Etoile, сняв ее с площади, или лифчик Брижит Бардо с ее личной дарственной надписью. Это называется course aux trésors (гонка за сокровищами). 8 ноября при полном собрании всех учеников происходит итоговое судилище — fête de réconciliation (праздник примирения). Капитан каждой пятерки должен предъявить свои трофеи главному судье и отбрехиваться от его свирепого натиска. Кое-кому удастся сделать это с блеском, и тогда зал живо его приветствует. Всё происходит, конечно, на таком густопсовом жаргоне и с такой массой недоступных мне фоновых знаний, что мне за их остроумием не уследить; кое-что мне успевают объяснить мои покровители.

Пятница 9-е. В разговоре о Симоне Синьоре один из соучеников говорит мне: «Может быть, ты хочешь

на нее посмотреть? Это очень просто: она сейчас снимается в «Салемских колдуньях» на студии Françoiseur; это на Монмартре. Поезжай и просто заходи». Сказано — сделано. Еду и нахожу киностудию Françoiseur. Никто ничего меня не спрашивает. Над одной из дверей горит надпись: «Идет съемка, не входить». Стою. Но как только надпись погасла, набираюсь духу и вхожу. Никому до этого дела нет. Оказываюсь в полумраке. Огромное помещение, до предела загромажденное разнообразным реквизитом. В каждом углу построена, очень нагрубо, имитация какого-нибудь интерьера. Везде провода, осветительные приборы, громоздкие агрегаты на колесах. Во всех направлениях ходят занятые каждый каким-то своим делом люди. Иногда даже наталкиваются на меня, но не обращают решительно никакого внимания. Понемногу смелею и начинаю подходить поближе к местам активного действия. И вот вижу два пустых стула с надписями: Yves Montand, Simone Signoret. И тут же рядом вижу и их обоих. Оба мне необычайно нравятся. В данный момент у них, видимо, какой-то перерыв. Стою рядом то с одним, то с другой из них, наслаждаясь волнующей обстановкой некоего всеобщего анонимного сотрудничества. Обратиться, конечно, не решаюсь.

Тут центр деятельности перемещается в другой угол. Он изображает грязный сарай. Снимается сцена, когда юная Милена Демонжо входит в этот сарай, видит посреди сарая крысу, которая что-то жрет, и от омерзения запускает в нее ножом. Сцена никак не получается. Бедная крыса, которая должна быть мерзкой, представляет собой в действительности чистенькое мягкое симпатичное существо, ошеломленное

всем этим светом и шумом. И она совершенно не собирается делать то, чего от нее хотят. На сыр, который ей подсовывают, не хочет и смотреть. К тому же, к 25-му дублю она, вероятно, уже давно съела от него столько, сколько ей хотелось. «Мотор!» — снова и снова кричит режиссер, и Милена Демонжо — невысказанно обворожительная (ей в это время двадцать лет!) — в 25-й раз швыряет нож, стараясь не попасть в крысу.

Не знаю, сколько часов я там провел. Но так ни на какого бдительного распорядителя и не нарвался.

Среда 14 ноября. Наконец реально начинается учебный год. И сегодня мой первый урок для учеников Ecole Normale, пожелавших заниматься русским языком, — он же начало всей моей преподавательской карьеры (но мне тогда это еще даже отдаленно не приходит в голову).

Потом Институт фонетики: начинаются курсы французской фонетики для иностранцев.

Четверг 15-е. Первая лекция Мартине в Институте языкознания Сорбонны: курс «Иерархия лингвистических ценностей».

Получил в магазине подогнанный костюм. Вечером отправляюсь в театр Ambigu, на моноспектакль Марселя Марсо, великого мима. Понравилось; особенно запомнилась сценка «Давид и Голиаф».

Пятница 16-е. Начинаются занятия в Ecole Pratique des Hautes Etudes. Лежён, два занятия одно за другим: 1) микенская филология; 2) итальянские диалекты. Лежён появляется на 20 минут позже начала, солидный, могучий, уверенный в себе. Слушателей человек десять. Среди них даже один кюре. Практи-

чески всё понятно. Сперва записывал всё по-французски, потом стал писать вперемежку. После этого в Институт фонетики не пошел, чем и начал традицию прогулов их занятий: это место, конечно, нельзя и сравнить по степени серьезности с Ecole Pratique des Hautes Etudes и Институтом языкознания.

В 17 часов в Ecole Pratique des Hautes Etudes Минар: индоевропейские древности. Особо много интересного за первую лекцию, правда, не услышал.

Вечером урок русского языка. Потом кино. Сильнее всего хроника. Венгрия, демонстрация во главе с социалистами в Париже, контрдемонстрация коммунистов, буйство фашистов и поджог здания ЦК КПФ, наклоняющиеся буквы «Parti Communiste Français», крупным планом горящие членские билеты: «Paris a vécu les jours de sa colère»; демонстрация на Красной площади с толстенной бабищей в первом ряду на радость зрителям. Египет — бомбардировка каналов и городов, высадка парашютного десанта, танки на улицах Порт-Саида: «L'opération franco-britannique a réussi». Публика реагирует бурно. Когда показывают Венгрию, крики: «Alger! Port-Saïd! Alger! Port-Saïd!» Из другой части зала: «Fascistes!» и свист. Хроника продолжается: Rainier et Grace de Monaco qui attendent leur enfant.

А сам фильм — венгерский, не дублированный: «Le petit carrousel de fête» Золтана Фабри. Образ ярмарочной карусели, вихря, свободы, счастья...

Из письма от 16 ноября 1956

Устроился я очень здорово. Все бытовые проблемы урегулированы простейшим образом. Режим еды железный: 8–8.30; 12.30–13; 19.30–20. Опоздаешь

— останешься голодным, изволь идти в ресторан. Режим прочий — самый свободный во Франции.

⟨...⟩ Воспитанники школы — будущая интеллектуальная верхушка Франции. В Cité же народ самый разный, да еще вдобавок 80% иностранцев. Здесь же редкий тип не является в чем-нибудь оригинальным и неповторимым. Философов, конечно, не счесть. Политиков еще больше. Спорят — до остервенения. Каждый обед подписывают какую-нибудь листовку. Вообще обед и ужин — основное время и место общественной деятельности. Главное — здесь все друг друга знают, видят минимум три, а то и десять раз в день. ⟨...⟩ У нас закрытая школа, столятидесятилетние традиции, причудливые, остроумные, фантастические, неопишуемые. ⟨...⟩ Иностранные языки знают все. Каждый третий знает их 4–5, некоторые типы — бессечно. Общая тенденция безусловно левая, с элементом неперемного критицизма и самостоятельности суждений по любому вопросу. Ко мне относятся чрезвычайно благожелательно и тактично, даже в самые неприятные дни. Об условиях для французского языка уж и говорить не приходится. В школе бытует жаргон совершенно своеобразный и выразительный. В значительной мере он заразил даже дирекцию и преподавателей.

Суббота 17 ноября. Мартине в Институте языкознания — курс «Общие проблемы лингвистики» для студентов Сорбонны, готовящих *certificat de linguistique générale*. Публика совершенно иная, чем в *Ecole Pratique des Hautes Etudes*. Средний возраст лет двадцать. В общем как на нашем филфаке, если не считать, конечно, накрашенных едва ли как не в цирке, до радужного блеска, губ, ногтей и прочих частей. В первом

ряду сидят самые прилежные и записывают, ловя каждое слово; не хватает только высунутого набок языка.

Записывать, впрочем, особенно нечего — Мартине разглагольствует вообще, вокруг да около, описывая ужасы экзамена, неизбежные переэкзаменовки и т. п. Подчеркивает жизненную необходимость для будущего лингвиста изучить все его, Мартине, произведения, указывает, где их можно достать и за какую цену.

Постепенно привыкаю к тому, что французы по любому поводу (а уж по такому серьезному, как окончание обеда или ужина, — совершенно непременно) должны зайти в кафе и просидеть там час-полтора, иногда и полдня, за чашечкой кофе, разговаривая обо всем и ни о чем. Сегодня после обеда поучаствовал в таком сидении с Аленом, Мартинезом и с общим нашим приятелем американцем Пьером Хознбергом. Потом отправились бродить по старым узким улочкам между Ecole Normale и церковью Saint Médard. Такого рода прогулки парижских бездельников — впечатление совершенно особого рода. Их развлечения напоминают романы XIX века; и сами эти улочки, как кажется, не изменились с того времени. Основное развлечение — задирать девиц, стоящих у своих крохотных прилавков, а также заходить в маленькие магазинчики и спрашивать самые фантастические вещи, скажем, «нет ли у вас бюста моей бабушки», потом изысканно вежливо извиняться и говорить комплименты продавщицам. Самые разные mesdames и mesdemoiselles очень охотно вступали в такой разговор, даже если он начинался, например, так: «Нет, ты

безусловно неправ, — говорил Ален Мартинезу. — А что вы об этом думаете, Madame?» Раз им удалось даже заговорить с madame, которая выглядывала из окна второго этажа, и представить ей американца (Хознберга) и русского (меня): «Нет, вы подумайте только, какие люди ходят под вашими окнами!»

Среда 21-е. Оказались с Лешей Жилкиным у Миши Васильчикова на дне его рождения. На столе «русские блюда», которые уже мало похожи на свои прототипы, и т. п. Старенькая мать Миши очень симпатична. Но на меня производит удручающее впечатление ее язык. По-французски она говорит совсем плохо, буквально несколько слов. Но это бы еще не беда — беда в том, что ее русский язык практически совсем распался, превратился во что-то невероятно, отчаянно, безнадежно ломаное. Мне никогда еще не доводилось наблюдать подобного рода утрату.

22-е. Кино: «Le quai des brumes» с Жаном Габеном.

Воскресенье 25-е. В Лувре пожилой господин подкупил меня тем, что принял меня за француза, потом долго и заинтересованно расспрашивал. «Многие хотели бы поехать туристами, но боятся, что их не выпустят обратно».

Понедельник 26 ноября. Ecole Pratique des Hautes Etudes. Бенвенист: готский глагол. Бенвенист говорит изумительно, совершенно такими же безупречными законченными фразами, как в печатном тексте; но при этом очень понятно. Никаких элементов специфически устной речи. Его стенограмму можно непосредственно отдавать в журнал.

Вторник 27-е. Ecole Pratique des Hautes Etudes. Бенвенист: западный среднеиранский. Стиль и дикция Бенвениста так безупречны, что непонятные слова я вполне могу записать в транскрипции — с тем, чтобы подумать дома. Например, никак не мог сообразить, что значит часто повторяющийся отрезок [nōsit]. Дома все-таки догадался: это noms scythes (скифские имена)! Хорошая вышла задача: каким самым изысканным способом можно записать по-французски простенькое звучание [sit].

Днем заглядываю в мой любимый книжный магазин Voiveau et Chevillet на rue Monsieur le Prince. Едва ли не главная его специализация — лингвистика. Уже запомнивший меня продавец говорит: «Даже если вам понадобится книга из Восточной Германии — у нас есть люди, которые нам ее доставят».

Среда 28-е. Начало занятий в Ecole Pratique des Hautes Etudes у Луи Рену: чтение Ригведы. Крохотная аудитория, в ней шесть человек. Входит Рену — плотный, грузный, с каким-то как будто смущенным взглядом, который, впрочем, трудно поймать: он предпочитает смотреть в землю. Без всяких преамбул, не бросив даже беглого взгляда на слушателей, начинает разбор гимна об игре.

Уже после первых пятнадцати минут мне совершенно ясно, что четыре года занятий санскритом у Кочергиной, которые у меня за плечами, — катастрофически недостаточны для того, чтобы быть на уровне, который с очевидностью предполагает у своих слушателей Рену. Понимаю, что нужно немедленно раздобыть настоящие полные грамматики, засесть за них и во что бы то ни стало срочно доучиваться до этого уровня.

Декабрь

Суббота 1 декабря 1956. Получил от Бенвениста приглашение посетить заседание Парижского лингвистического общества (SLP) (вольные слушатели могут присутствовать на этих заседаниях только по чьему-либо приглашению; у меня оказался почетный статус l'invité de Monsieur le président). Это доклад Бенвениста о системе древнеперсидского письма. Основная идея: недостает до полноты схемы тех знаков, которые практически никогда не оказываются реально необходимыми для различения на письме каких-либо квазиомонимов. Единственное существенное исключение — отсутствие знака для t^i , который позволил бы отличать -ti актива от -tai медиума. Лежён замечает, однако, что подобные нелогичности свойственны и ряду других древних графических систем.

Понедельник 3-е. Бенвенист в Ecole Pratique des Hautes Etudes: готский глагол. После этого Бенвенист в Collège de France: общий и сравнительный синтаксис. Бенвенист говорит так же четко и безукоризненно — и дико то, что в задних рядах сидят клошары и какие-то старухи с вязаньем в руках; как мне объясняют, они просто ходят сюда погреться. Ведь Collège de France по замыслу предназначен именно для любого человека с улицы. Впрочем, они ведут себя довольно благопристойно и даже иногда делают вид, что слушают, что там говорит этот строгий сухой профессор у доски.

Кино: «Le mystère de Picasso». Пикассо рисует прямо перед киноаппаратом. Его фонтан так могуч, что даже это ему нетрудно.

Вторник 4-е. Бенвенист в Ecole Pratique des Hautes Etudes: среднеиранский. После этого Бенвенист в College de France: проблемы индоевропейской диалектологии.

8-е. Кино: впервые посмотрел «Дорогу» Феллини. Потрясен.

Понедельник 10 декабря. Неприятнейшая новость: Бенвенист заболел.

Пятница 14-е. Вместе с Лешей Жилкиным и другими нашими студентами на репетиции Ива Монтана в театре Etoile.

Из письма от 12 января 1957 года

Миллионы Ив Монтана — подлые истории. В любом случае, он не хуже прочих в этом отношении, например, наших. А во многих отношениях — гораздо лучше. В жизни он очень симпатичен и прост. <...> Слова, смысл и интонация его песен — почти главное, голос же у него, конечно, не карузовский. Когда он пел для нас, в трех метрах от нас, мы понимали каждое слово, каждое движение, и это впечатление совершенно чудесное.

15-е. Кино: «I married a witch» Рене Клера. Это из его американского периода. Понравилось чрезвычайно.

Понедельник 17-е. Бенвениста все еще нет.

Кино: «Il tetto» Витторио де Сика. Похоже на хорошие фильмы этого ряда, которые мы видели в Москве.

21-е. Théâtre de l'Opéra: «Дон Жуан». Ослепительная роскошь интерьера. Блистательная публика в

антрактах. Потом русский ресторанчик около Пигаль; посмотрел на эмигрантскую публику.

23-е. Кино: «Le jour se lève» Марселя Карне с Габеном.

Из письма от 23 декабря 1956

Система [образования] ужасно сложная, и понять ее в целом весьма трудно. На это и французы жалуются, а иностранцы — просто без конца. (<...>) Что уж и говорить, если существуют специальные институты для согласования всех проводящихся в Париже занятий по тому или иному предмету. Институт языкознания вывесил соответствующую сводную афишу только вчера — впервые в этом году. Я с удовлетворением убедился, что я в курсе почти всего, что они объявили.

24-е. Гросс ведет к своему однопартийцу — коммунисту Берто. У них елка. Семья из шести человек — трое детей и еще тесть. Квартира из трех небольших комнат. «Да, отдельная квартира, — говорит Берто. — Mais c'est un palais pour moi!» (но это для меня дворец). По словам Гросса, Берто — увриерист. Тот отрешивается. «Но, конечно, коммунисты среди студентов немного стоят». Постоянный вопрос ко мне: нравится ли мне во Франции? Явно требуется, чтобы не нравилось. Мне же нравится — по ограниченности кругозора, естественно. Берто набрасывается на Анри Гросса за то, что тот возил меня в Монако и тому подобные места. «Я приеду к вам в гости на юг, — говорит он Гроссу, — сразу же, как только во Франции установится режим народной демократии». А мне: «А ты передай своему другу Метейе, что-де был в гостях у Рыжего («Rouquin») — его папа неплохо его знает!»

Вторник 25 декабря. Выезжаем с семьей Гроссов на машине в Лион. Пересекаем область Веаусе — пустынные поля, покрытые изморозью. 110 км/ч. Туман раннего утра. Необычное для французского пейзажа впечатление: пустое пространство кажется бескрайним.

Уже темнеет, когда подъезжаем к знакомой гостинице Normandie в Лионе. Идем гулять к месту слияния Соны и Роны. Мрак. Грохот воды у маленькой плотины, поднимающей уровень Соны. В маленьком ресторанчике self-service сосед читает новости о решениях ЦК КПСС. «Вы, наверно, не представляли себе, что о вас думают где-то в Лионе», — говорит мне мать Анри.

26-е. Утром мы с Анри садимся на поезд, идущий не куда-нибудь, а в Милан. Набито до отказа. Через несколько часов прибываем в Бур-Сен-Морис. Там нас уже ждут с машиной и везут в горы в Sainte-Foy Tarentaise — игрушечную савойскую деревушку, уютную в снегах.

27-е. Сент-Фуа. Утром за окном сверкающий снегом склон горы и неповторимый, незабываемый запах снежной свежести. Этот запах наполняет вместе со светом и всю комнату; кажется, что так же пахнут и простыни.

Днем пошли с Анри вверх на Col du Mont — перевал, пограничный с Италией; зимой здесь дороги нет. Не дошли.

28-е. Анри переводит «Двенадцать» Блока. Я даю советы.

30-е. Второй поход на Col du Mont. Не долезли и в этот раз.

Понедельник 31 декабря 1956. Встреча Нового года в зале гостинички в Сент-Фуа. Ужин, танцы. В полночь все друг с другом целуются.

Январь 1957

3 января. Новая попытка взять Col du Mont (и нарушить границу). На этот раз пошли на лыжах. До ледяного кулуара на самом перевале не дошли всего метров четыреста, когда на косом склоне у меня под лыжей оторвался пласт снега, покатился вниз и быстро превратился в небольшую лавину. «Хватит», — твердо сказал Анри, хоть ему и очень забавно видеть мою мистическую тягу к границе и к мысли о ее нарушении. (Его любимая забава в Советском Союзе состояла в том, чтобы вынуть перед новыми знакомыми несколько снимков горных пейзажей и как бы невзначай сказать: «Вот моя любимая гора, я на ней часто бываю; и вот на эту тоже люблю подняться, она уже по ту сторону границы». Эффект всегда один и тот же: никто из его слушателей больше не смотрит на альпийские красоты и не обсуждает никаких проблем альпинизма — все потрясены одним: «Как же можно перейти границу?!»)

5-е. Отправляемся с Анри пешком в Валь-д'Изер. Впервые в жизни вижу горнолыжный курорт — с подъемником-кабиной, с подъемниками из сидений, с размеченными трассами спуска: легчайшей (многокилометровой), легкой, средней и самой крутой.

Поднялись в кабине до верха. Потом погуляли немного в сторону Mont Pourgi — любимой горы Анри. Сделали еще один пеший переход: Анри захотел показать мне великую плотину Tignes. Действительно прекрасное мощное сооружение; я вспомнил журналы по архитектуре, которыми в моем детстве был заполнен весь дом, — мой отец лишь из-за техномании его эпохи стал инженером, а не архитектором.

6-е. Сент-Фуа. Утром немножко позаписывал *ra-tois* (местный говор) у хозяина гостинички Франсиса Рекордона. К вечеру хозяева везут меня вниз в долину на парижский поезд. Прошел дождь со снегом, и горная дорога полностью покрыта коркой льда. Каждый поворот серпантина — испытание водительского мастерства и нервов. Приходится останавливаться у придорожных ресторанчиков и расслабляться за рюмочкой перно. Это, так сказать, национальный напиток южной Франции. Угощают и меня. Неосторожно отхлебываю полный глоток — и наступает клинч: проглотить этот чудовищный аптечный концентрат из капель датского короля нет никакой возможности. Горло схватывают спазмы, из глаз текут слезы, а хозяева с живейшим интересом, как на петушиных боях, смотрят, что будет дальше. Проглотить, конечно, пришлось, но больше уже не соглашался на это их национальное угощение никогда.

Вторник 8 января. Париж. Я уже приобрел кое-какой опыт жизни в *Ecole Normale*. Знаю, например, что, когда приходишь утром к своему столу, а масла уже не осталось, то можно попробовать сходить на кухню и попросить у интенданта еще масла — иногда это увенчивается успехом. Вообще жизнь хоть и нельзя назвать голодной, но все же готовность еще чего-нибудь съесть почти постоянная. Столы на восемь человек, и все, что возможно, подается неразделенным. Накладывают сами, соблюдая некие неписанные нормы умеренности, а остатки уже откровенно доедают самые активные.

В какой-то момент у старших учеников *Ecole Normale* наступает полоса экзаменов *agrégation* (прибли-

зительно соответствующих нашим аспирантским). Экзамены тяжелейшие, продолжаются по семь часов. Сдающие добросовестно предупреждают своих соседей по столу, что на обед им попасть не удастся. И вот тогда у оставшихся получается роскошное усиленное питание. Мне однажды довелось оказаться вдвоем за столом, который, как всегда, сервировался на восьмерых. Всего съесть не смогли, но все же изрядно продвинулись к этому. Остатками поделились с соседними столами.

Поразительным для русского человека образом к числу немногих вещей, от которых на столе кое-что все-таки иной раз остается, относится вино! Первое время я не мог удержаться, чтобы этим не воспользоваться. Но постепенно понял, что от вина отказываются те, кто собрался всерьез позаниматься.

Чего не остается на столе ровно никогда, это салата — хотя бы за восьмерых ели двое. Салат вообще играет за обедом ту ритуальную роль, которую по нашим представлениям должно было бы играть вино. Салат подается в огромнейшей миске, а отдельно к нему подается соус. В некий непонятный постороннему момент один из застольщиков, признанный по какому-то бессловесному тайному согласию самым уважаемым из восьми, встает и приступает к ритуальной операции под названием «размешивать салат». Только совершенно ничего не понимающему может показаться, что ничего тут хитрого нет. Операция длится долго, и все смотрят на нее почтительно и терпеливо. Какой же неизмеримой чести я удостоился однажды ближе к концу года, когда мне вдруг сказали: «Ну, Andréi, нам кажется, что ты уже дорос до того, чтобы размешать нам сегодня салат!»

У каждого есть в столовой свое определенное место. Но на то и свобода, чтобы даже это не было чем-то непреодолимо окончательным. Дело в том, что по неопишуемой эколь-нормалевской свободе у учеников имеется неписаное право привести с собой в столовую приятеля — и даже приятельницу! Этим правом пользуются не очень часто, но пользуются. И если ты, придя к своему столу, видишь на своем месте незнакомца или, тем паче, даму, долг чести повелевает с легким поклоном отправиться к чужим столам в поисках местечка, где кто-нибудь не пришел.

Среда 9-е. Очередное занятие у Рену. На эти занятия я хожу совершенно регулярно. Отчаянное прогрызание полных грамматик как будто бы дало некоторые плоды: как кажется, я уже близок к тому уровню, который Рену считает само собой разумеющимся.

Манера Рену изумительна. Он все время говорит сам. Вопросов почти не бывает. Но это не потому, что вопросы задавать не полагается. Просто он так точно предвидит все возможные трудности, что успевает их прокомментировать раньше, чем зададут вопрос. Но, конечно, лишь те, которые законны при предполагаемой им исходной подготовке.

Однажды я все-таки, в нарушение этого общего стиля, рискнул задать вопрос: «Почему такое-то слово в стихе безударно?» Рену не мог представить себе, что слушатель не знает такой простой вещи. Он ответил: «Это-то совершенно очевидно. Вы, конечно, имели в виду не это слово, а следующее за ним. Его безударность действительно объясняется не так просто». И он аккуратно объяснил причины безударности следующего слова.

Вечер «русского отделения» Сорбонны на rue Férou. Среди прочих познакомился там с Ирен Гольденфельд (в более позднюю эпоху — Журдан), с которой вскоре стали приятельствовать. (Каковое приятельство не кончилось и поныне.)

13-е. Кино: «Le luci della varietà» Феллини.

18-е. TNP (Théâtre National Populaire): «Mère Courage» Брехта.

Понедельник 21 января. В 16 ч. в Ecole Pratique des Hautes Etudes Мартине открывает семинар «Применение понятия нейтрализации к значащим единицам».

Среда 23-е. Кино: «Le chien andalou» Бюнюэля.

Пятница 25-е. В 17 ч. баскский язык с Мартине у него дома в Sceaux.

Вторник 29-е. Начинаются мои еженедельные занятия на Radio Télévision Française (RTF) в акустической лаборатории у Моля (Moles): работа с новым американским прибором, именуемым сонаграф.

Кино (во дворце Шайо): «Les visiteurs du soir» Марселя Карне.

Февраль

Суббота 2 февраля 1957. Гулял с Ирен в Булонском лесу. День теплый, весенний, уже можно сидеть на травке. Прогулял тем самым заседание Парижского лингвистического общества, не зная, что меня именно в этот день туда избрали.

Из письма от 6 февраля 1957

Жизнь полная, как никогда. Дней пять в Париже была весна и солнце. Всё было еще не настоящее, сейчас идут дожди, и настоящая весна будет только в марте, но я не могу оправиться от невероятного ощущения этих пяти дней. Я много слышал о том, что Париж прекрасен весной. Я ждал этого. И все-таки правда прекраснее всяких слов, и, поскольку я не поэт, то ничего схожего с тем смятением чувств, которое одолевает, преодолевает человека весной на набережной Сены, — передать не могу, и не стоит пытаться. Скажу только, что за эти несколько дней у меня несколько раз были мгновения, когда мне казалось, что прекраснее этого у меня уже не будет в жизни моментов. А если это кажется не после, а в тот самый момент; если хочется, чтобы так было всё время; если человек просто почти готов воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно», — то, наверное, это близко к правде. Я счастлив, что узнал Париж осенью — отнюдь не самый красивый, но достаточно красивый, чтобы смертельно поразить столь долго работавшее воображение, как мое. А теперь я вновь открываю Париж, и эти дни я был почти столь же опьянен и безумен, как в первую неделю октября. С каким счастьем я увидел, насколько еще далеко мне до мироощущения наших чиновников посольства, когда я ничего не вижу, кроме голубого-голубого неба, узорных шпилей Нотр-Дама и мутной воды Сены, когда слышу только собственное сердце и подсознательно остерегаюсь переходить улицы в произвольных направлениях. Счастье от солнца, которое заливает Париж, настолько неодолимо, что даже долгое отсутствие писем кажется мне зловещим только ночью и в дурную погоду.

Занятия идут, как если бы к ним приделали пропеллер, и количество моих знакомств среди лингвистов (да и прочих) таково, что, наверное, при нужде я мог бы всю неделю кормиться в гостях поочередно.

Хоть у меня и отнюдь нет фаталистического предчувствия большого падения после такого подъема, но все-таки есть даже что-то грустное в этом ощущении апогея жизни, этой почти уверенности, что дальше не может быть так же хорошо. Странное ощущение сидеть на парапете набережной против Лувра, залитом весенним солнцем, смотреть на мост, на воду, на Тюильрийский сад, на рыбаков, на бесконечные пары влюбленных и понимать, быть почти уверенным в том, что воспоминание об этом мгновении будет одним из лучших воспоминаний в жизни.

⟨...⟩ А еще — я ужасно рад, что бог дал мне такие нереальные и романтические мозги и что пёстрая толпа на бульваре Сен-Жермен или, если угодно, некрасивая студентка-парижанка, уткнувшаяся в книжку на ступеньках набережной, мне куда дороже, чем десяток пальто, да и толстых книг — тоже.

Воскресенье 10 февраля. Концерт в театре Шатле: Прокофьев, болеро Равеля. Выходя, увидел рядом Клаудию Кардинале.

Вторник 12-е. Кино: «Dies irae» Дрейера. Великолечно.

Из письма от 16 февраля 1957

Жизнь идет со страшной быстротой. Просыпаюсь и уже знаю точно, как пройдет весь день; на каждый из трех четких кусков дня, разрезаемых едами, что-нибудь намечено...

⟨...⟩ Экзамены будут по французскому языку. ⟨...⟩ А еще через десять дней надо уже сдавать «dissertation» (≈ нашему сочинению) в Институт языкознания. Мой новый акустико-кибернетический шеф дал вагон литературы и велит чуть ли не на следующей неделе представить ему «развернутое критическое суждение» об одной. Наконец, Мартине предлагает подготовить маленькое выступление в его семинаре. Всё почему-то одновременно.

⟨...⟩ Через несколько минут начинается великое, единый раз в году бывающее событие — бал Ecole Normale Supérieure. Пышность огромная, высокопоставленные гости, например, Monsieur le Président de la République и т. п. (на этот раз, кажется, не придет); приготовления шли бог знает сколько дней, афиши висят по всему городу, расфуфыренные девицы ломятся толпами, и где-то внизу уже слышатся буйные возгласы: публика «подготавливается» к веселью (= упивается понемногу мелкими и крупными группами). Сам Monsieur le sous-directeur заявил мне, что сегодня положено пьянствовать в полную меру способностей, подтвердил общефранцузское уважение к соответствующим русским способностям и выразил уверенность, что я не посрамлю земли русской. Внизу уже сидят три оркестра, а играть им предстоит с 10 вечера до 7 утра.

Суббота 16 февраля. Бал в Ecole Normale. Во всех помещениях покрупнее — столы с бутылками. Во всех какие-то декорации. Вот, например, подвал, изображающий Телемское аббатство... Все ходят с рюмками в руках из одного зала в другой. Высокопоставленный гость — на этот раз министр образования. Ему демонстрируют все самое интересное и в качестве особенно

редкой достопримечательности подводят к нему меня. С рюмкой в руке, с видом демократического единения со всем происходящим бедламом, начинает меня расспрашивать: «Ну и как вам здесь живется? С кем вас поселили?» Уже хорошо зная, что значит «с кем», отвечаю: «С социалистом». — «Ну и как же вы с ним ладите?» С полной естественностью отвечаю на совершенно обычном для Ecole Normale языке: «Il ne m'emmerde pas trop» (да он не слишком уж сует меня носом в дерьмо). Тут происходит немая сцена. Все движение в комнате на мгновение прекращается. Министр чуть меняется в лице, окружающие замерли: что теперь будет? И вот министр уже нашел выход — все-таки как-никак политик: с рюмкой наперевес он бросается ко мне и начинает громогласно поздравлять с изумительным овладением французским языком.

Увеселения этого рода продолжают до утра. Большая их часть происходит уже на крыше. Правда, на следующий день я достаиваюсь визита самого Прижана: «Это из вашего окна бросали водяные бомбы на улицу Рато? Хозяин машины указывает вроде бы именно на это окно». (Водяные бомбы, *bombes à eau* — бумажные кульки с водой; с высоты пятого этажа прилично проминают крыши машин.) Принято исходить из того, что ученики отвечают своему вице-директору честно: это уж его дело, как он их будет потом защищать. Говорю Прижану, что как раз этой комнаты бал не коснулся, и вопрос считается исчерпанным.

Четверг 21 февраля. Письменный экзамен по французской фонетике (транскрипция).

Пятница 22-е. Устный экзамен по французской фонетике (проза). Вечером баскский язык у Мартине.



В ожидании отъезда



На Елисейских полях



У решетки Люксембургского сада



На сквере Arts et Métiers



На бульваре Сен-Мишель



На булваре Сен-Мишель



На бульваре Сен-Мишель



Реклама



Moulin Rouge



На Больших Бульварах



Rue Saint Julien le Pauvre



Угол бульвара Сен-Мишель и площади Сен-Мишель,
ноябрь



В нижней части Латинского квартала



У решетки Пантеона



На набережной



Rue Gay-Lussac, раннее утро



У Рагуши



На булваре Клиши



В Латинском квартале



На площади Мауберт



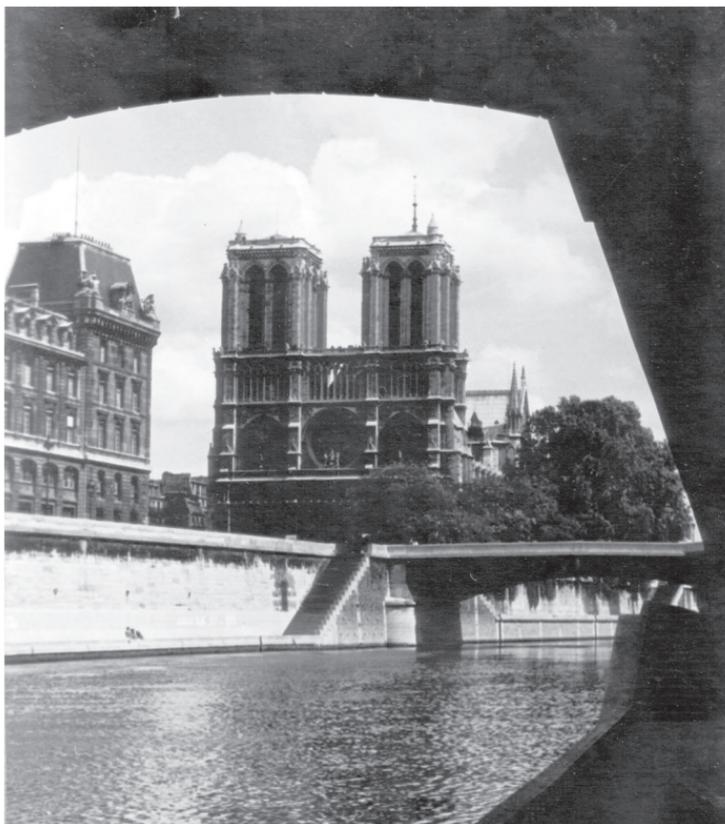
На булваре Port-Royal



Ha rue des Fossés Saint-Jacques



На Елисейских полях



Нотр-Дам со стороны моста Сен-Мишель



Нотр-Дам со стороны Понт де l'Archevêché



С Анри Гроссом, 1957



Швейцария, ок. 2000



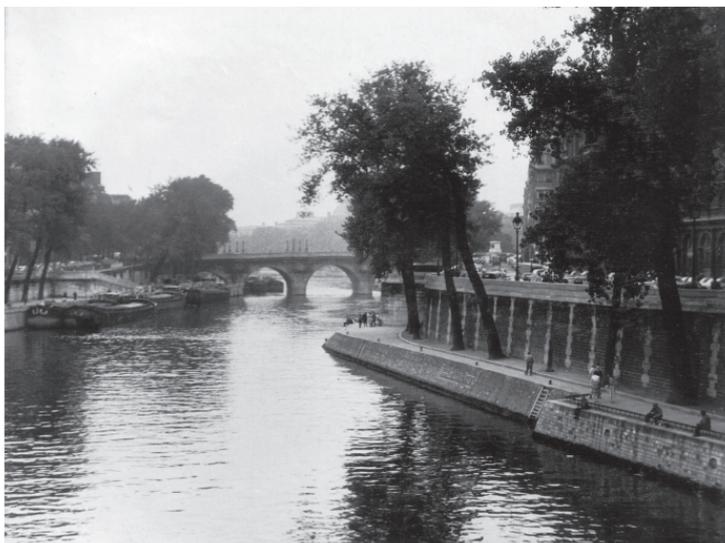
Школьные друзья, ок. 1952



С Ирен Гольденфельд.
Москва, август 1959



Мост Сен-Мишель со стороны Pont Neuf



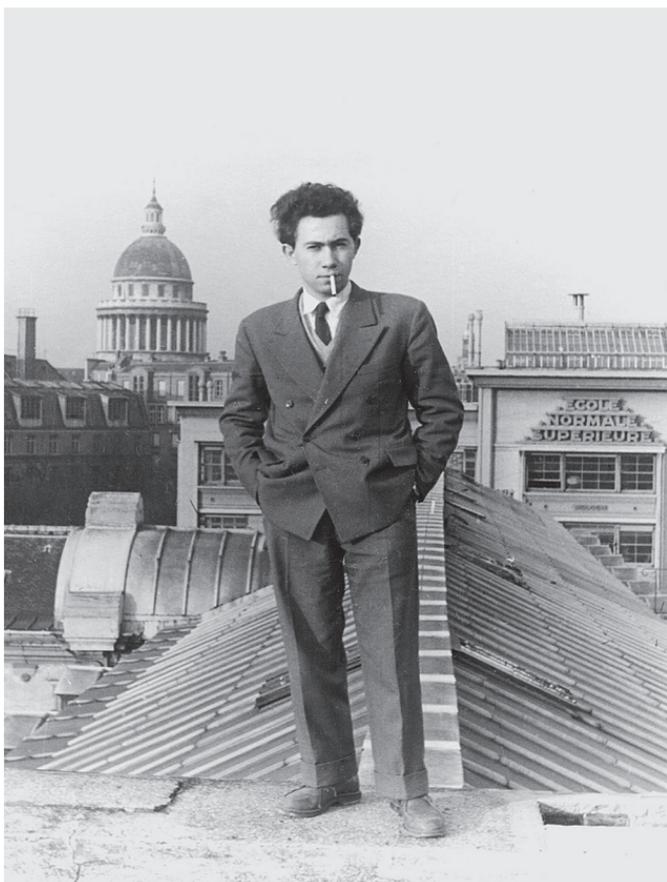
Pont Neuf со стороны моста Сен-Мишель



Pont Neuf со стороны набережной Mégisserie
Pont au Change со стороны набережной Mégisserie



Rue Cujas после дождя



Жан Метейе



На крыше Ecole Normale



Студенческий митинг на площади Сорбонны,
под памятником Огюсту Конту



Другая фаза того же митинга



Мотороллеры на Pont Neuf



Rue d'Ulm и Пантеон



На улочке в нижней части Латинского квартала
(rue de Bièvre)

Четверг 28-е. Был на приеме у посла, просил разрешения на поездку в Италию. Смотрит мне пристально в глаза: «Я такие вопросы не решаю. Если хотите, я запрошу Москву». Предпочел не хотеть.

Устный экзамен по французской фонетике у Маргариты Дюран (поэзия: *Dans un vieux parc solitaire et glacé / Deux ombres ont tout à l'heure passé...*; полагается неким очень специальным образом завывать при декламации; угодить Маргарите Дюран у меня не очень получается).

Март

Пятница 1 марта 1957. Впервые в жизни оказываюсь за рулем моторного средства: Мишель Лонэ предлагает мне попробовать свой scooter Vespa. (Мотороллером его назовут в Москве потом.) Чувство совершенно необыкновенное. Мишелю и в голову не приходит, что обучать меня следует в каких-то специальных местах, — он сразу же выпускает меня на узенькие улочки Латинского квартала. И только когда я выезжаю, нисколько не замедляясь, с напрочь закрытой большими домами rue Lhomond и поворачиваю налево на rue du Pot de Fer, тесно огибая левый от меня угол тротуара, Мишель, сидящий за моей спиной, спокойно замечает: «Если ты будешь так поворачивать, то ты несомненно никогда не будешь старым».

Труднее всего не заглохнуть при старте. То и дело приходится слезать и заводить педалью снова. И сильнейшее ощущение возникает, когда чудовищный пятнадцатиметровый грузовик тормозит в тридцати сантиметрах позади меня и ждет, пока я справлюсь с глохнущим мотором.

Из письма от 2 марта 1957

Во Франции забастовка почтовых работников. <...> Кстати, только что я пережил другую забастовку — обслуживающего персонала Ecole Normale. Неделю никого не поили, не кормили, не согревали, и одичалые и обросшие погмаиен'ы рыскали по забегаловкам Латинского квартала искии что поглотити. За эту неделю я весьма оценил пользу, проистекающую из обилия знакомств.

3–6 марта. Познакомив меня с Французской Ривьерой, Анри Гросс теперь считает нужным познакомиться с Нормандией. Он везет меня — поездом с вокзала Монпарнас — в нормандскую деревню к своим родственникам. Приезжаем на ферму к его дяде. Гостеприимство — самое широкое. Обстановка действительно деревенская. Во дворе сортиры-скворечники, совершенно как в Подмоскovie. Меся грязь, хожу за дядей, который с гордостью показывает мне всех своих коров и свиней. Еда простая, ее огромное количество. И, конечно, пить примерно так же обязательно, как в русской деревне. Питей два, оба свои, яблочные: сидр и кальвадос. И того, и другого неимоверно много. стакан сидра ставится перед каждым при любой еде; по мнению хозяев, без этого вообще ничего не проглотить. А серьезное питье — это кальвадос; для московского уха это, конечно, Ремарк, романтика. И вот уже все силы кончаются, и хозяйва удовлетворенно отправляют тебя на немыслимо огромную деревенскую перину.

Утром решаю: больше невозможно, сделаем день отдыха. Но ничего подобного: уже пора ехать ко второму дяде, который живет в соседней деревне. Переезжаем. И весь сценарий с полной неумолимостью по-

вторяется. А дальше выясняется, что у Анри еще и четыре тетки. И не посетить хоть кого-нибудь — тяжкое оскорбление.

В гостях у одной из теток Анри говорит мне: «А сейчас мы тебя познакомим с настоящей старой нормандкой — матушкой Базен». Старуха действительно очень колоритна; особенно замечательна ее речь. Например, *l mouillé* звучит у нее отчетливо как [d']: [travad']. Спрашиваю, нельзя ли за ней кое-что записать; она охотно соглашается.

Наконец в последний день Анри вырывает меня из кальявдосного гостеприимства с тем, чтобы отвезти к морю и показать нормандское чудо света — Mont Saint Michel. Впечатление действительно сильное. Мы попали туда во время отлива: вокруг вздымающейся к небу фантастической крепости что-то вроде зыбучих песков. А во время прилива это практически остров. Объясняют, что для пловца эта зона смертельно опасна: начнется отлив, вода очень быстро уйдет, и зыбкое дно неумолимо засосет.

Нам разрешили подняться по лестнице почти до самого шпиля; других посетителей в это время года не было. После этого Анри повел меня в ресторан и продолжил образовательную программу по Франции: в Mont Saint Michel вся Франция ездит для того, чтобы вкусить здешних устриц. «Конечно, здешние устрицы возят и в Париж, — объясняют нам, — но ведь там вы их получите лишь через 24 часа после того, как они вынуты из моря!» Эффект варвара, который в ужасе шарахается от устриц, не состоялся: устрицы с белым вином и с каким-то диковинным соусом чрезвычайно мне понравились. Спрашиваю Анри: а чем все-таки эти устрицы отличаются от устриц из дру-

гих мест? «Скажу тебе по секрету, — отвечает, — что главное отличие, конечно, в соусе; здесь они знают какую-то тайну».

Вторник 12 марта. Кино: «*Sous les toits de Paris*» Рене Клера.

Четверг 14-е. Объявили результаты экзаменов по французской фонетике. Сдавало 156 человек. Средний балл 18 (по 20-балльной системе) получила некая итальянка, постоянно живущая в Париже; 17,5 — 7 человек: четверо из Бельгии и Канады с родным французским языком и трое русских: Леша Жилкин, жена одного из наших посольских и я. (На высокий средний балл меня вытянула в основном письменная транскрипция, где не нужно никакого артистизма, а достаточно просто соблюсти все правила — как в арифметике; за нее я получил почти не применяемую здесь в гуманитарных дисциплинах оценку 20.)

Пятница 15-е. Занятия баскским языком дома у Мартине. Обстановка приятная — все участники (это человек семь) теперь уже друг друга знают. Читаем баскские текстикки — про баскского Ходжу Насреддина по имени Пьяррес Адаме и т. п. На одном из уроков, когда очередь доходит до меня, мне достается кусок, где я все слова понимаю, а смысла тем не менее совершенно не могу уловить. «Здесь получается какая-то бессмыслица, — говорю я, — *les pêcheurs d'hommes!*» (Мне не повезло: если бы я перевел какими-нибудь другими словами, такого разительного эффекта не было бы. Но я по несчастью попал абсолютно точно на канонический французский перевод слов «ловцы человеков» в евангельском тексте!) Во-

царяется тягостное молчание. Присутствующие, среди которых, вероятно, не менее половины верующих, смотрят — кто изумленно, кто смущенно — на варвара, который явно никогда не держал в руках Евангелия. Мартине каким-то образом заминает этот эпизод. (А я, запомнивши силу эффекта, но не понимая его причины, осознал, что же тогда произошло, только годом позже, уже в Москве, читая Евангелие.)

Воскресенье 17-е. Я в гостях у родителей Метейе в Шату. Метейе-министр гостеприимен, любезен. Красуется необычайно. Рассказывает, что у него личный служебный самолет и он, конечно, не может тратить времени попусту, когда летит, например, в Африку: прямо в самолете у него рабочее место. Мой деликатный Жан видимым образом страдает. «Я слышал, вы хотели попасть в Италию, — говорит министр. — Если у вас будут проблемы с визой, я вам все устрою. Я скажу своим итальянским друзьям: будьте спокойны — Зализняк не агент КГБ, он им будет только потом».

Едем все вместе в Шантйи. По дороге останавливаемся, чтобы посетить маленькую церковку; оказывается, это церковь Анны Ярославны, королевы французской — XI век. Такой вот след от Anna Regina.

Знаменитый дворец Шантйи; в пруду у дворца чудовищные раскормленные карпы, размером с собаку. Собираются стаями, как утки, когда кто-нибудь из визитеров останавливается на мостике, и ждут, что им бросят хлеба.

В бескрайнем парке Шантйи Метейе-отец широким жестом пересаживает меня на свое место. Впервые в жизни оказываюсь за рулем автомобиля. А тот не устает заверять меня, что это-де дело простое.

Проезжаю километр-два; машина действительно идет фантастически легко. «Ну вот, теперь уже можете ехать так до Москвы».

С Жаном мы уже очень славно сжились. Бывает, что рассуждаем и о будущем. Жан, как всегда, ироничен. «Ну, мое-то будущее, — говорит он, — ясно как на ладони. Стану agrégé (примерно то же, что кандидат) по греческому языку, потом буду преподавать греческий язык, буду секретарем своей ячейки социалистической партии, каждое лето буду ездить на каникулы в Италию — и так всю жизнь. Боже, какая скука!».

Пятница 22-е. Утром Прижан объявляет мне, что я освобожден в Ecole Normale от дальнейшей платы, поскольку веду занятия по русскому языку.

Вечером мой доклад на кружке лингвистов-марксистов о дискуссии по синхронии и диахронии в СССР.

Суббота 23-е. Le bouge (собрание с выпивкой) у меня в комнате и на крыше.

Воскресенье 24-е. Много гулял по крышам. Это одно из любимых развлечений учеников Ecole Normale (и в особенности моего Жана) — гулять по конькам ее крыш. По всему периметру главного здания (прямоугольника с внутренним двором) конек крыши сделан плоским, шириной сантиметров двадцать. Так что можно обойти здание по конькам кругом. Можно даже, хотя и с некоторым трудом, разойтись с тем, кто вздумает сделать такой же круг в противоположном направлении. Кроме того, на крыше есть и просто плоские участки, где очень удобно сидеть читать или устраивать разные пикники и увеселения, а в жару — спать.

Ходить по конькам не считается решительно никаким геройством, хотя в первый раз там и бывает немножко не по себе. Геройская прогулка состоит совсем в другом. На стене Ecole Normale в межоконьях укреплены бюсты великих: Паскаля, Расина и т. д. От края окна до бюста — немногим меньше метра. Задача мастера состоит в том, чтобы из окна перелезть на голову великого, а с нее — на следующее окно. В идеале так проходится весь этаж, из конца в конец. Школа знает своих мастеров; но к сожалению, ее анналы знают и тех, кто на этом альпинизме погиб.

С крыши Ecole Normale виден более или менее весь Париж. А мы с Метейе живем прямо под ней и выход на ее плоскую часть почти у самой нашей двери. Так что это как бы дворик нашей комнаты.

Из письма от 25 марта 1957

Несколько дней назад прошла половина моего срока здешней жизни. Привык, конечно, я уже очень сильно (но не до явного свинства все-таки). На Эйфелеву башню меня теперь тянет не больше, чем моего соседа, и даже в Лувр стал ходить почти так же часто, как в Москве в Музей изобразительных искусств. Каждый день проделываю два-четыре раза путь от Ecole Normale до Сорбонны и обратно, и Пантеон мне служит вместо польского костела — так же примелькался и так же приятно иногда взглянуть «как если бы в первый раз». Впрочем, по крайней мере по дороге в Сорбонну смотреть некогда: нормального ходу мне 11 минут — я, естественно, выхожу (= вылетаю) за 6 с половиной — 7. Хорошо хоть, что от Пантеона к Сорбонне бежать под гору. А еще — каждый день вылезая раз по пять на нашу крышу и просто смотрю на Париж. А видно его оттуда —

весь. И насмотреться вдоволь — невозможно. А еще есть Сена и Нотр-Дам, который хоть и не совсем в Латинском (следовательно, «нашем») квартале, но внутренне, конечно, ему принадлежит. И, конечно, Люксембургский сад. И надо всем этим — солнце и синь.

⟨...⟩ Похоже на то, что «дальние страны» мне дороже, чем гайдаровским ребятам в 11 лет...

Суббота 30 марта. Запомнившийся мне на всю жизнь футбольный матч между Ecole Normale de la rue d'Ulm и Ecole Normale de Saint Cloud, когда я неожиданно оказался в роли вратаря в команде нашей школы.

(Я вспомнил его с полной яркостью через 34 года, когда случайно оказался на том же стадионе, и описал в рассказе о 1991 годе.)

Апрель

Пятница 5 апреля. Узнав, что я помышляю о кинокамере, мой соученик Гранер объясняет мне, что тогда я должен поехать в маленький магазинчик на rue Notre Dame de Nazareth: там хозяин делает скидку ученикам Ecole Normale. Ему, конечно, даже и в голову не приходит объяснять мне, что это сугубо неофициальный договор — попросту говоря, запрещенная законом коммерческая махинация. Кто же этого не понимает? Как и мне в голову не приходит, что какая бы то ни было продажа по обоюдному согласию может быть при ихнем капитализме запрещена. Разыскиваю магазинчик, вхожу и с порога спрашиваю хозяина: «Это у вас делают скидки ученикам Ecole Normale?» Хозяин инстинктивно дергает головой влево

и вправо, чтобы понять, кто из покупателей мог слышать эту чудовищную фразу. Похоже, что никто не обратил внимания. После этого он медленно оглядывает меня с ног до головы и веско произносит: «Вы ошиблись, Monsieur». В совершенной растерянности я возвращаюсь в Ecole Normale к моим инструкторам и всё рассказываю. Хохот моих соучеников сотрясает потолок.

Суббота 6-е. Гранер теперь уже сам везет меня на rue Notre Dame de Nazareth; покупаем кинокамеру Erksam. Она стоит (после скидок) ровно всех тех денег, которые останутся у меня на руках в последующие месяцы благодаря распоряжению Прижана. Так что камера оказывается моим гонораром.

11–28 апреля 1957. Пасхальные каникулы — путешествие с Анри Гроссом на юг.

Из письма от 7 мая 1957

В субботу [20 апреля] перед Пасхой отправился в Ниццу и провел там целый день с фото- и киноаппаратом. Это, по-видимому, самое яркое впечатление всех моих каникул. (...) Я сразу же забрался в «старый город» и не вылезал оттуда почти до вечера — узкие улочки со свешивающимся из окна бельем, сотни мелких лавчонок, каждый зазывает, едва ли не хватая за полу, улицы, поднимающиеся ступеньками куда-то далеко вверх, обгорелые южные лица людей, женщины в черном с огромными жбанами белья на голове — всё это такие ожившие кадры из итальянского neorealismo, что у меня от волнения дрожали руки, и уж не помню, как я там ставил выдержки и диафрагмы. Потом оказалось, что я извел на один этот день три пленки.

⟨...⟩ В воскресенье [28 апреля] я выехал в Марсель (раньше я его видел только проездом). Да, что и говорить, это такой «перекресток мира», такая Одесса-мама, что не видевши вообразить невозможно. В порту типы с такими рожами, что хочется бегом скрыться за ближайший угол, хватают тебя за полу и шепчут таинственно: «Папиросы американские, только что с парохода, по дешевке...» Тут же около порта единственный во Франции кинотеатр «специального репертуара», такого, что даже в Париже не допускается на экраны. ⟨...⟩ Близ порта — огромное серое здание; охрана в пестрых мундирах хаки с желтым — *Légion étrangère de France*; огромная вывеска: «*Passant, touriste, étranger! Si tu veux savoir ce qu'est la Légion étrangère, renseigne-toi ici!*» (Прохожий, турист, иностранец! Если ты хочешь знать, что такое Иностраннный легион, осведомись здесь!).

Вечером возвращаюсь на вокзал. На Париж мест нет. Сажусь в поезд *Marseille–Metz*. В полночь с 28 на 29 апреля (по московскому времени) мы в Авиньоне. Освещенный невидимыми прожекторами папский дворец мистически господствует над окружающим мраком...

В 3 часа ночи, в Дижоне, пересаживаюсь в прямой вагон на Париж; сесть негде, приходится стоять до самого Парижа. Ноги затекают, делаю безнадежные попытки спать стоя; отсчитываю остающиеся четверть-часы. Поезд идет со скоростью 140 км/час (электролиния Дижон–Париж — самая скоростная в Европе, а может быть, даже в мире). Начинается серенький рассвет. С фантастической скоростью поезд пролетает Фонтенбло. В Париж приезжаем в семь утра. По этому поводу уже никаких эмоций. В Москву я так «бесчувственно» стал приезжать только последние года два... Сравниваю.

Оказывается — ведь и правда, я *жил* (а не находился на положении туриста) только в Москве и в Париже (из *не-городов* можно добавить Сходню и эвакуацию). Похоже на то, что в обоих случаях у меня общее самоощущение почти одинаковое. Что касается знания города (планировка, система транспорта etc.), то не исключено, что я знаю Париж не хуже, чем Москву. Латинский Квартал с его хитросплетениями крохотных улиц я, во всяком случае, теперь так же не смогу забыть, как, скажем, район Грузинских улиц.

⟨...⟩

Возможно, что я в какой-то мере усвоил французское отношение к праздникам. А отношение это, с нашей точки зрения, по меньшей мере странное — полное равнодушие. Качество и количество еды и питья, содержание разговоров и главное — общее настроение — от будних дней не отличается по существу нисколько. Вот примеры, которые сперва необычайно меня поражали: люди, которые спокойно ложатся спать 31 декабря, *как всегда*, в 10 часов; люди, которые проводят 1 мая в поезде (не знаю, знаете ли вы, что 1 мая — нерабочий день), имея полную возможность поехать и 30 апреля и 2 мая; люди, которые в собственный день рождения отправляются к кому-то в гости; наконец, венец всего — свадьба, на которую нас пригласили: для того, чтобы это хоть издали напоминало наши представления о том, что такое свадьба, ... нам пришлось сложиться и сбежать за вином.

Очень много любопытного собирался я тебе написать про здешний уклад жизни, только вот время для описывания выбрать трудно. Интересно, что за эти месяцы многое в моем первоначальном отношении изменилось — разонравилось кое-что, что

навилось, и поослабли некоторые «возмущения». Помню, сначала меня изумляла и поражала способность французов час, два, три часа разговаривать про еду и питье, про то, где кто как вкусно поел и попил два, три, десять лет назад. Разговор начинается за столом, но может продолжаться еще час после обеда. Первые 3-4 раза я приписал это вежливому желанию хозяев поддержать разговор, не касаясь никаких иных тем, кроме столь безобидной; рассматривал это как своего рода любезность по отношению ко мне, тем более что начало было всегда одинаковым: «Что едят и пьют в России?» После того, как мне *двадцать* раз в двадцати разных компаниях пришлось рассказать, что едят и пьют в России, я решил, что я или сойду с ума, или никогда в жизни больше не сяду за один стол с французами. Лишь гораздо позже я понял, что никакой особой любезности ко мне не было, проявлялась лишь нормальнейшая для француза потребность обсуждать одно из своих высших наслаждений. Уверяю тебя, что распространенные у нас представления о типично французских наслаждениях в корне неверны. Три четверти наслаждений в жизни состоит в том, чтобы вкусно поесть и обсудить это со своим ближним (говорю с уверенностью, так как нет оснований полагать, что французы «стесняются» рассказывать о других своих удовольствиях). Отсюда нормальное время для обеда или ужина — полтора часа. «La table n'est pas louée» («стол не нанят» — подразумевается «на время») — любимая поговорка в этом случае. Решительно убежден, что при всем своем чувстве юмора очень немногие французы догадаются, что «Сирена» — рассказ юмористический, а не бытописательный. Одна из сильнейших причин презрения к американцам — в том, что они

«не умеют есть», проглатывают что попало на ходу и стараются тратить на еду минимум времени — презренные люди. У нас рассказ человека, который побывал за тридевять земель, в духе: «ехали туда на пароходе — кормили так-то, приехали в такой-то город — ели то-то, потом поехали в другой — пили то-то, потом полетели в самолете домой — обед был такой-то» — возможен только в баснях Михалкова и тому подобных произведениях. Здесь такого рода юмора не поймет никто. Мне довелось встретить 7 или 8 человек, побывавших в СССР, — рассказ строго по этой схеме, с безошибочным указанием, что именно было съедено в Киеве, что в Москве, а что в Тбилиси, — составляет 80% всех впечатлений. Среди этих людей были настолько различные по общественному положению и по темпераменту, насколько только возможно. После этого я стал чуть-чуть понимать, что основное, среднефранцузское представление о том, что такое, скажем, Англия, — это то, что там безвкусно едят, что в Германии жрут картошку, сосиски и дуют пиво, что в Италии можно иногда неплохо поесть, но всем им, конечно, бесконечно далеко до Франции, из чего следует, что французы в некотором роде наиболее высокоорганизованная нация из всех. В заключение прошу не думать, что это всё красочные преувеличения. Это — холодная констатация фактов. Если бы я не сумел атрофировать у себя эмоциональное отношение к этому кардинальному во французской жизни вопросу, я давно бы уже сбежал в Москву.

⟨...⟩

Да, раз уж начал я немножко рассказывать об *esprit gaulois*, то обязательно нужно рассказать об одной черте этого галльского духа, которая нравится мне чрезвычайно. Лучше всего выражается она фран-

цузской поговоркой «Il faut prendre la vie comme elle vient» («Следует принимать жизнь как она есть»). Наиболее поразило проявление этого у старых людей; мне довелось их видеть несколько. Это довольно трудно определить — может быть, это способность не задумываться особенно над жизнью, некоторая общая жизнерадостность. Ни разу, даже от очень старых людей мне не довелось слышать жалоб на возраст, на старость, на болезни, на тяжкую жизнь и т. д. Вспоминал я всегда в этих случаях некоторых старух в наших деревнях... Не перестает поражать меня хозяйка дома, где живет Гросс; ей 71 год, но она сохранила способность так заразительно смеяться, поддразнивать молодежь и рассказывать веселые истории, что уж и привык, кажется, а все диву даюсь. Больше того, если услышит смех в комнате, выходит сейчас же из кухни и добивается, чтобы и ей рассказали, в чем дело. А ей 71 год! И прожила очень тяжелую молодость, была анархисткой (между прочим, знала Ленина в 1903 году), сидела в тюрьмах и т. п. Поистине начинаешь верить французам, когда они в один голос заявляют, что хандра есть абсолютно национальная русская, а отнюдь не общечеловеческая черта и что французу, не побывавшему в России, ни за что даже и не понять, что это такое.

Понедельник 29 апреля 1957. Попавши к себе, отсыпался после бессонной ночи. А вечером нужно идти на первомайский вечер в торгпредстве. Как досадно: вероятный поздравительный звонок из Москвы меня в Ecole Normale не застанет. Недолго думая, поступаю по обычаям школы — оставляю около телефона (общего для всей школы) записку о том, что

если вызовут меня, то нужно попросить телефонистку перебросить звонок на другой номер. И пишу номер торгпредства: учить мягкие мозги нужно ведь еще долго.

В торгпредстве в какой-то момент вечера меня действительно вызывают к телефону. Вхожу в специальную комнату. Там какие-то посольские чиновники с суровыми лицами. Подают мне трубку, а другую трубку от того же телефона без всякого стеснения подносит к уху чиновник. Это звонок Ирен: «С днем рождения!» Моя система переброса звонков работала превосходно. Отвечаю тусклым голосом что-то вялое, боясь спровоцировать ее на любое лишнее слово. Кое-как этот фальшивый разговор кончается. После чего со мной уже начинается настоящий разговор: кто такая? где, когда и при каких условиях познакомились? бывали ли у нее дома? И т. д.

К счастью, через некоторое время меня вызывают к телефону снова. На этот раз уже из Москвы. Друзья отпраздновали у меня дома мой день рождения. Мое присутствие им для этого совершенно не требуется. В Москве на два часа больше, поэтому они все уже достигли очень продвинутой фазы — настолько, что на Центральном телеграфе, куда они ввалились, чтобы устроить этот звонок, им приходится иметь дело с милицией. Сказать они ничего членораздельного мне уже не могут; вырывают трубку друг у друга, для большей доходчивости используют русский лексикон в полном объеме. Чиновник слушает и в этот раз, но теперь уже скорее с одобрением. Даже чуть-чуть размякает от приятной отечественной атмосферы и свободной словесности. Я уже не выгляжу в его глазах таким несомненно чуждым элементом.

Май

7 мая. Кино: «Les portes de la nuit» Марселя Карне. Очень понравилось. Очень в его духе.

Понедельник 13 мая. Вечер у Мартине с Ельмслевом и Куриловичем, приехавшими на несколько дней в Париж. Разговоры не запомнились.

Возвращаемся из Sceaux на RER втроем: Курилович, Эви Поке (с которой мы вместе слушаем Мартине) и я. Разговор идет какой-то вполне пустой; о лингвистике Куриловичу говорить не хочется. Собираюсь, как обычно, сойти на Luxembourg. Эви вдруг мне шепчет: «Не сходи, поедем дальше — проводи меня». Разумеется, остаюсь, хотя и удивлен: такое совершенно не в обычаях Латинского квартала. Прощаемся с Куриловичем, остаемся вдвоем. «В чем дело?» — спрашиваю. «Я боялась с ним остаться tête-à-tête». Имела ли она уже возможность убедиться в его намерениях или только предполагала, она мне толком не объяснила. (Тогда, конечно, мне это по молодости показалось страшной чушью. Очень уж мастит был Курилович; но вообще-то ему было только 62 года. И не меньше того меня поразило, с какой легкостью Эви видела в нем не мэтра, а пана. Комбинация, конечно, была неудачная: Эви была полная противоположность расхожему мнению о молодых француженках — искренняя, деликатная, немножко стеснительная и совершенно не тертая.)

Вторник 14 мая. Лекция Куриловича в Институте языкознания Сорбонны: грамматическая геминация в германском. Вступительное слово произнес Бенвенист: «Впервые за многие годы Курилович смог возобновить контакт с Западной Европой». Мартине в

конце сказал, что лекция разъяснила ему многие неясные для него случаи и он теперь полностью принимает точку зрения Куриловича.

Среда 15-е. Вторая лекция Куриловича (там же): глагольная система хеттского языка.

Четверг 23-е. Кроме скутера Мишеля Лонэ, у меня теперь есть доступ и к скутеру Ирен, точно такому же. Я уже вхожу во вкус этой забавы, а Ирен попустительствует. Мы едем с ней за город к ее знакомым, и она отдает мне руль на шоссе, правда, довольно свободном. Тут я впервые получаю возможность попробовать не только маневры, но и скорость. Ах, какое это несравненное чувство, когда у себя за спиной слышишь: «Pas si vite, André! Pas si vite!». В сущности, изрядно повезло, что мы добрались до знакомых целыми. (У мотороллера, к счастью, предельная скорость невелика.)

Среда 29 мая. Знаменитое последнее занятие у Рену. Когда он вошел, было заметно, что его обычная стеснительность еще как бы усилилась. Сел и, не глядя на присутствующих, сказал, что вот, его курс окончен и он желал бы немного узнать о том, кто были его слушатели, которые занимались у него целый год, и зачем им понадобился его курс.

Слушатели стали по очереди вставать и рассказывать о себе. С каждым следующим Рену явно все более огорчался: оказалось, что ни один из его слушателей не собирался стать индологом. Он услышал, в частности, следующее. Дама из Нанси, будучи преподавательницей классических языков, хотела расширить свой профессиональный кругозор. Индусу,

приехавшему из Индии в Париж специально для того, чтобы поучиться у великого Рену, эти занятия необходимы для укрепления его религиозных размышлений. Литературоведу из Женевы этот курс должен помочь лучше понять творчество изучаемого им писателя Руссо («о, разумеется, не навязшего у всех в зубах Жан-Жака, а его племянника!»). Мне, приехавшему из Москвы, ведийский язык нужен лишь для сравнительной грамматики индоевропейских языков.

На вопрос о профессии я ответил Рену: студент-лингвист. «Лингвист? — сказал он. — Не может быть!» Я был поражен: «Как? Почему?». — «Потому что вы хорошо говорите по-французски!». — «Так и что же?». — «Но лингвисты же не говорят на иностранных языках! Это же абсолютно разные способности. Мой великий учитель Антуан Мейе не мог говорить даже по-английски!»

Вечером я сказал Метейе: «Подумай, какая нелепость: Рену спросил, чем занимаются его слушатели, только когда все уже было кончено! Ведь он бы мог это спросить на первом же занятии, и тогда ему было бы легко учитывать наши реальные интересы». — «Как же ты не понимаешь! — ответил он мне. — Рену — человек деликатный. Ему ясно, что если бы он уже вначале побеседовал с вами, это создало бы узы между ним и вами. И тогда оказалось бы возможным, чтобы кто-нибудь из вас когда-нибудь пришел на его занятие не потому, что это ему интересно и нужно, а по причине этих уз — потому что неудобно не прийти. Разве ты не понимаешь, что самая мысль о такой возможности для него непереносима!»

ИЮНЬ

Суббота 8 июня. Кино (с Женевьевой Корреар, с которой мы вместе занимаемся баскским языком у Мартине): «Ninotchka» с Гретой Гарбо.

Воскресенье 9-е. Кино (с Женевьевой): «Les enfants du paradis» Марселя Карне.

Воскресенье 16-е. Метейе везет меня, Берсани и Риполля на Ламанш. На новом шоссе Париж–Мант мой Метейе выдает на своей не слишком сильной машине скорость 150 км/ч. Куда делась его всегдашняя мягкость! Но это другая жизнь! Здесь он супермен-лихач!

Летящая за окнами сплошная полоса зелени, завораживающий лик спидометра с застывшей у правого края стрелкой, ощущение собственной молодости, ощущение заграницы — все сливается в какую-то неправдоподобно счастливую нереальность, ощущение кульминации жизни...

Руан — остановка: интеллигентно идем в музей Жанны д'Арк.

Выезжаем дальше на запад. Дорога стала намного уже. После одного из поворотов замечаем впереди новенькую Dauphine; в ней четыре девицы. Для моих соучеников женщина за рулем, хотя это уже перестало быть в Париже совершенной диковиной, — всё еще сильный раздражитель, некоторый нонсенс, который требует как минимум немедленного остроумия. В Париже, попав в затор, водитель почти обязательно должен произнести сакраментальную фразу: «Certes quelque part une femme au volant!» (наверняка где-нибудь женщина за рулем). А тут полная машина девиц! Надо непременно догнать! Метейе поддает газу — но

что же? Dauphine поддает газу не хуже нашего и легко отрывается от нас! Это уже серьезно. Начинается основательная гонка по довольно узкой дороге с часто попадающимися деревьями. И Dauphine, увы, несомненно мощнее. Пролетаем десятки километров — успеха нет. Отрыв начинает расти. Атмосфера в нашей машине тяжелеет. Острословие как-то увядает. Но вот после одного из поворотов прямо перед нами ресторан. «Это прекрасный ресторан, я его знаю, — кричит Метейе и резко тормозит, — здесь и только здесь мы должны немедленно перекусить!» Всеобщий энтузиазм: все согласны, что терпеть без перекуса нельзя больше ни минуты.

Расслабившись и слегка заживив рану, едем дальше. И вот показалось море. «Thalassa! Thalassa!» — кричат мои высокогуманитарные спутники. Трувиль. Море хмурое, солнца нет. Пляж пустоват: холодно, почти никто не купается. На стоянке замечаем и нашу обидчицу Dauphine. Но никому не хочется даже и смотреть в ее сторону.

Понедельник 17 июня. На семинаре Мартине разбирает два моих сочинения: про фонологическую систему моего Метейе и про произношение в нормандской деревне (он получил их от Женевьевы).

24-е. В Париж прибывают советские туристы, совершающие круиз вокруг Европы. Среди них Людмила Юльевна, мать Володи Тихомирова, и мне предстоит ее разыскать. Задача непростая; но мне все же удастся узнать, что всех их сегодня ведут в Лувр. Брошаюсь туда. Весь двор Лувра заполнен людьми — сразу видно, что моими соотечественниками. Мне нужно

найти группу № 6. И вот оказывается, что Париж уже порядочно меня испортил: я без всяких предосторожностей просто подхожу и спрашиваю, где здесь группа № 6. При первом же звуке моих слов те, к кому я обращаюсь, поворачиваются ко мне спиной. Несколько обескураженный, перехожу к другим и делаю новую попытку — эффект в точности повторяется. Так и не удалось ничего добиться. Постепенно догадываюсь, что всех их смертельно запугали тем, что непременно будут «провокации» и страшнее всего, разумеется, те, кто к ним будет обращаться по-русски.

Приходится искать по гостиницам, обращаясь только к французским администраторам. Наконец все-таки удалось определить гостиницу, где размещена группа № 6, а затем и номер Людмилы Юльевны. Приезжаю к ней в гостиницу; беседуем. Сожалею, что не могу послужить гидом, потому что послезавтра у меня центральный экзамен года. Предлагаю посмотреть некоторые фильмы, объясняю, как попасть в кинотеатры, где они идут. Чувствую, однако, что как-то никак не могу попасть в правильный тон. От меня явно мало пользы, хоть я и стараюсь: похоже, что мои рассказы и мои предложения противоречат каким-то аксиомам, которые очевидны для членов туристской группы. Если не ошибаюсь, ни Людмила Юльевна, ни другие так и не воспользовались моими советами.

(Много позже я узнал, что мой стиль Людмиле Юльевне действительно не понравился; она сказала: «Пора, пора ему уже возвращаться!».)

Среда 26 июня. Письменный экзамен по общему языкознанию в Сорбонне. В огромном зале стоит

сотня столов на значительном расстоянии друг от друга — так что рукой до соседнего стола не дотянешься. По столу на человека. На каждом столе лежит пачечка цветных листов для черновика и двойных белых для беловика. Цветов — пять или шесть, так что до ближайшего стола с черновиками того же цвета, что у тебя, недостижимо далеко. Между столами ходят надзиратели.

Ровно в 9 часов вскрывают конверт с темой — единой для всех. Раздаются первые вздохи разочарования. Но немедленно встать и уйти запрещено; это можно сделать только через час. Этот гарантийный час продиктован опытом: из тех, кто бросает пустые листы на стол в первую минуту, многие через пятнадцать минут стали бы просить их обратно.

Через час действительно несколько человек встают и сдают пустые листы; эти люди придут теперь на тот же самый экзамен через год.

Лихорадочно пишу: известно, что сверх положенных четырех часов не будет дано и двух минут. И в самом деле конец наступает совершенно резко: всем велено встать и сложить работы на главный стол.

Вечером начал монтировать свои фильмы (черно-белые). Дело оказалось невероятно захватывающее.

27-е. Взял у Гранера проектор и впервые увидел на экране свои смонтированные начерно фильмы.

Июль

Понедельник 1 июля 1957. Устные экзамены по языкознанию: утром теория, днем перевод лингвистического текста с иностранного языка. Из options

(заданий на выбор) беру не русский (это как-то глупо), а английский. Занятно: надо переводить текст с английского на французский.

2-е. Объявляют общие результаты экзаменов; я попал в хорошую категорию «mention bien».

Из письма от 6 июля 1957

С подарками я совершенно потерял голову: как из 400 рублей сделать 40 подарков... <...>, не говоря уже о трех заказах на книги <...>, при мысли о стоимости которых у меня кружится голова. Если я не найду из-под земли каких-то добавочных средств, то буду пытаться продать фотоаппарат. Тяжело это очень; не говоря уже о том, что с моими способностями я продам его в лучшем случае за четверть цены, мысль о том, что это отцовский подарок, никак меня не оставляет.

Экзамен я сдал хорошо, и теперь поздравлениям нет конца (*даже* от русских). Сдавало 101 человек (за исключением двух или трех все, натурально, французы). Конечный результат (после трех экзаменов, каждый из которых представляет собой тур, то есть дает определенный отсев) — 7 аттестатов с отличием (в каком-то числе и я), 17 аттестатов так наз. «assez bien» (в общем, «прилично»), 10 просто аттестатов и 67 провалов.

Жара в Париже невообразимая, какой, говорят, не было не то сто, не то двести лет. Днем, аки пёс, кладешь язык на плечо, но и ночью дышать трудно. Сплю на крыше — все-таки лучше, чем в комнате. Иногда героически беру киноаппарат и иду по городу; после такого подвига приходится отлеживаться лапами кверху. Эйфелева башня в мареве, вся какая-то аж сизая от жары и почти что переливается. Париж вылакал все свои запасы воды, и теперь воду часто перекрывают — не хватает.

Пятница 5 июля. Баскский язык у Мартине — на травке.

8-е. Женевьева заявляет, что ей было бы любопытно посмотреть какой-нибудь советский фильм. Едем в Studio 43, где показывают советские фильмы. Идет «Большая семья». После кино о показанной в нем жизни: «Это же стена! пустота! Moi, je le dépasse parce que je crois en Dieu».

9-е. Разговор с послом: «Вас вызывают в Москву. Вы нужны на международном фестивале».

(Много позже я узнал, что приказ из Москвы, который получил посол, гласил: «Выслать Зализняка с группой студентов». Иначе говоря, для гарантии требовался еще и эскорт. Но посол счел, что в данном случае это лишнее. Вообще отсылка неугодного в Москву — это было тонкое дело, требовавшее индивидуального мастерства и изобретательности. Например, послали его в Прагу за икрой для посольского приема. А в Праге ему говорили: «Как раз сейчас у нас вся икра кончилась. Придется вам лететь дальше в Москву».)

Прощальный вечер участников баскского семинара (у Женевьевы). Мартине рассказывает разные памятные истории. Очень любит слегка подкусывать Якобсона. Артистично изображает французскую речь Якобсона, например: «Tu sais, André, je ne crois plus au binarisme» — совершенно без носовых гласных и с грохочущим раскатистым русским *p*. Покусывает и Бенвениста.

10-е. Кино (с Женевьевой): «La passion de Jeanne d'Arc» Дрейера. Потрясающе, ни с чем не сравнимо. Прощаемся с Женевьевой.

11-е. После различных хлопот получил, наконец, билет (вернее пакет билетов) на Москву на 22 июля. Вечер с Андре Бланденом и Эви Поке в ресторанчике «Aux assassins»; потом сидели у меня до глубокой ночи.

13-е. Посол сообщил, что после работы на международном фестивале мне предоставляется второй год обучения в Париже.

Побывал у Луиса Прието в Cité Universitaire. Вечером мы с Бланденом у Эви Поке, потом все вместе переезжаем на машине Бландена поперек Парижа из одной развлекающейся молодежной компании в другую.

Воскресенье 14 июля 1957. Чтобы доставить мне удовольствие, Метейе идет на то, чего он очень не любит: просит об одолжении своего отца. И тот, будучи военным министром, устраивает мне великолепный именной билет на военный парад на Елисейских Полях. Дух Ecole Normale, однако, моего Жана не покидает — когда я получаю от него билет, то на нем при словах Andréi Zalizniak четкими буквами написано *espion soviétique*.

(Смотрю на эту историю с отдаления во времени и понимаю: самое замечательное здесь то, сколь спокойно я отправился с этим билетом на Елисейские Поля и предьявлял его полицейским. Мне было так же смешно смотреть на эту приписку, как и моему Жану. До сих пор не знаю, были ли эти полицейские просто невнимательны или они и правда оказались в состоянии оценить шутки в духе Ecole Normale.)

Вечером и всю ночь Париж гуляет и танцует на всех улицах. Особенно оживленно у Сен-Жермен де-

Пре. Мы с Ирен до поздней ночи переходим с одного уличного бала на другой.

20-е. Отстоял очередь в префектуре, после чего в течение нескольких минут без всяких затруднений получил визу *allée et retour* (на выезд и возвращение).

Понедельник 22 июля 1957. Суматошные сборы. Бланден везет меня на аэровокзал Инвалидов. Последний проезд по набережным. Путаница в аэровокзале, но вот уже все-таки я в конце концов сижу в самолете на Копенгаген.

Влетаем. Настроение приподнятое, бездумное. Приятная легкая алкогольная завеса. Парижская жизнь позади. Противные мелочные расчеты по сантиметру, которыми приходилось заниматься все эти последние дни, закончены: последние деньги с великим облегчением полностью отданы на доплату за лишний вес. Освобождение от их капиталистических франков проделано чисто: ведь не дай бог ввезти валюту в СССР. Кормят, поят, потом еще приносят коньяк — одно приятнее другого.

Но через некоторое время стюард появляется снова и произносит нечто невероятное: «С вас сто франков за коньяк». — «Как? — восклицаю я, — ведь это же все входит в билет!» — «Завтрак — разумеется. Но коньяк — это сверх программы». — «Сверх программы?! Невероятно!» — «Ну что ж тут такого? — говорит стюард. — *Monsieur ne voyage pas sans argent!*» (не без денег же господин путешествует!).

Только этого мне теперь не хватало — чтобы меня сняли с рейса в Копенгагене и сдали в полицию за неуплату! Стюард стоит и смотрит на меня пока еще вежливо, но уже с легкими симптомами нетерпения.

Что делать? И тут от страшного стресса меня осеняет: я ведь когда-то получил в Монте-Карло две монеты Монако по 50 франков, которыми я собирался на смерть поразить московских коллекционеров! Только неужели они у меня летят в багаже? Бешено роюсь во всех отделениях портфеля, и о счастье: нашлись!

Ни на секунду не дав себе труда отличить драгоценные монеты с принцем Ренье от банальных французских, стюард небрежно бросает их себе в карман с укоризненным выражением на лице: из-за такой пустяковой суммы устраивать весь этот жлобский спектакль! и столько времени заставлять его ждать!

Самолет Копенгаген–Хельсинки, который почему-то по пути еще делает круг над Стокгольмом. И наконец, самолет Хельсинки–Москва. Уже ночь. В пути начинается страшная гроза, молнии сверкают слева и справа. Земля вдруг становится дыбом: не долетев до Москвы какую-то сотню километров, самолет поворачивает на Ленинград.

Садимся в Ленинграде. Увы, это означает, что вместо московской таможни, у которой всегда много дела, мы попадаем в руки ленинградской, которая работает только в таких вот экстраординарных случаях и потому, конечно, будет страшно усердствовать. Так и оказывается. Досмотр происходит невероятно медленно и мелко; видно, что таможенники каждую вторую вещь видят впервые и думают, под какую бы рубрику запретов ее подвести. Очередь к ним еле движется. Потом вообще произошла какая-то остановка и замешательство. (Позднее выяснилось, что они в своем усердии заставили открыть свой чемоданчик индонезийского дипкурьера. Начавшийся скандал несколько их отрезвил.) Дальше уже пошло немного полегче.

У меня оказались подозрительными только книги. Видно было, однако, что латинский шрифт им не по силам. (Думаю также, что крамола в их представлении все-таки прочно ассоциировалась с русским текстом, а во вредоносность чего-то, написанного непонятными буквами, они в душе не очень верили.) Я стал им объяснять, что-де пробыл в командировке год и вынужден был купить себе учебники. «Но они советского издания?». Тут я напропалую сказал: «Разумеется», — смутно надеясь на то, что они не станут разбираться в выходных данных, написанных латинскими буквами. И о чуде: «Можете закрывать».

(Вопрос таможенника был не таким диким, как может показаться: посольские работники и их жены постоянно занимались тем, что привозили из-за границы модные многотомные собрания сочинений, которые было чудовищно трудно достать в СССР; кажется, они платили за них не валютой, а рублями.)

Ночь кое-как провели в аэропортовской гостинице. Москва — на следующий день.

По мотивам старых записных книжек

[Сведено воедино из прежних записей в 2004 г. Записи делались только во время поездок за границу. Везде, где возможно, использованы записи, сделанные во время самих событий или немногими днями позднее; часть из них непосредственно воспроизведена, другие прошли некоторое редактирование. Прочее добавлено по памяти.]

1988

Германия

Май 1988. Констанц.

В невероятных просторах университета (ни в каком другом университете я не встречал во все последующие годы ничего подобного) мне отведен целый кабинет, с фамилией на двери — огромный, с хорошую аудиторию. На полках уже стоят книги по древнерусскому языку и по берестяным грамотам. Всем понятно, что я буду сидеть там каждый рабочий день, равно как и то, что я буду каждое утро с умилением поливать украшение кабинета — роскошную гардению.

Увы, варвар не только не соблюдает этих простейших аксиом — он их даже не знает.

На пятый день замечаю, что люди в коридоре начинают избегать встречаться со мной взглядами. С большим трудом, очень нескоро, окольными путями узнаю страшную истину: труп погибшей гардении был тайно вынесен из моего кабинета.

29 мая, воскресенье. Лефельдт задумал угостить советского гостя самым для него пикантным из всего мыслимого: нелегальной прогулкой через французскую границу. Правда, сам чуточку при этом нервничает. От Оффенбурга он поворачивает машину в сторону моста через Рейн — пограничного. Инструктирует меня, как говорить и как молчать на пограничном посту. Вот уже показался и пост. Но в будке никого нет! Нас встречает только ящик с предупреждающей листовкой по-немецки: «Осторожно! Вы въезжаете в страну, где воруют!».

После этого мы уже совсем скоро оказываемся в Страсбурге. Действуем точно по логике ситуации: взлезаем на однорогий собор и заказываем escargots в ресторане. Немецкие деньги официант принимает очень охотно. На обратном пути мост столь же пустынен (но информации о том, что впереди страна, где не воруют, нет).

7 июня. В телевизоре ученые тети и дяди снисходительно переубеждают студентку, которая говорит, что ей бы хотелось, чтобы секс был соединен с Liebe, Zärtlichkeit und Treue.

1989

Франция

17 ноября 1989. Париж.

Афиши в парижском метро: портрет Ленина с надписью *Le mort de l'année*.

Вечер у Антуана Кюльоли. Являюсь к нему в самом французском виде, в каком могу, — в берете (*béret basque*). Открывает дверь — и не может удержаться от смеха: «Ну просто ветеран войны 18-го года!» Оказывается, ничего нелепее, чем берет, теперь в Париже и представить себе невозможно.

Несколькими днями позже в Эксе школьница Наташа, дочь Маргариты Гиро-Вебер, увидев мой берет, закричала: «*Ah, c'est le fameux béret basque!*» (похоже, что никогда в жизни такого не видала). Достойный фрейдистский конец этого берета состоял в том, что еще через неделю я его потерял (забыл в каком-то кафе).

18 ноября. Сорбонна, *Ecole Pratique des Hautes Etudes*, *salle Gaston Paris*. Заседание Парижского лингвистического общества. Кюльоли вводит меня со словами: «Вот наш коллега, который не был с нами 32 года».

19 ноября. На площади Сорбонны получаю легкий зрительный шок: бюст Огюста Конта, который формировал всю площадь, стоя на фоне Сорбонны на высоком постаменте в окружении аллегорических фигур, перенесен в уголок, лишен всего своего окружения и понижен так, что почти не возвышается над прохожим. А на его старом месте устроен маленький каток для катания на роликах. Спрашиваю у какого-то мо-

лодого человека: «Давно ли перенесли бюст Огюста Конта?» — «А разве он не всегда был здесь?» Обращаюсь к другому. — «Не знаю, я нездешний». Вижу старика, сидящего на углу. Этот знает: «Да лет уж двадцать тому назад». — «А почему?» — «Parce qu'ils ne font que des conneries!» (а потому, что они только и делают, что свинства). И уже по собственной инициативе излагает мне свои соображения и по другим вопросам. Очень недоволен объединением Германии: «Теперь Франции конец: немцев будет гораздо больше, чем нас. Ведь француженки совсем разучились рожать!»

17 декабря 1989. Сообщение по радио: умер Сахаров.

1990

11 января 1990. Марсель.

Поездка из Экса в Марсель на медицинский осмотр. Разношерстная толпа иностранцев перед закрытыми дверями. Преимущественно из третьего мира, но есть и европейцы. На этот день вызваны преподаватели, чернорабочих в этой толпе нет.

Замечательно, как эффективно и быстро работает механизм приведения лиц низшей категории к психологии советского типа. И сами приемы — такие знакомые. Начинается с того, что входящий в холл человек, вызванный к 9 утра, не находит в холле ни одного служащего. Сидят только такие же, как он, и точно так же ничего не знают. Все двери из холла во внутренние помещения прочно заперты. Никакого окошка информации нет. Так проходит час. К концу этого часа психологическое воспитание присутствующих уже сильно продвинуто. И когда наконец одна из дверей открывается, никому уже не приходит в голову требовать с кого-то объяснений, почему всех заставили бессмысленно прождать час. Вместо этого толпа (да, это, увы, уже толпа) бросается в узкие двери и оказывается на лестнице, ведущей вверх. Могучая сила уже вложенного в души советскообразного страха заставляя всех не идти, а почти бежать. Два этажа, три, пять, восемь! Топот, тяжелое дыхание, облетают остатки достоинства, с которым люди подходили к этому зданию час назад. Ясно, что было бы прямой воспитательной ошибкой со стороны хозяев пустить этих людей в лифты. Заодно и прекрасная форма медицинской проверки: кто свалится уже на лестнице, тот уж точно осмотр не прошел. И как раз для меня этот вариант исхода был очень близок; но кое-как пронесло.

На восьмом этаже обнаруживается, что бежать было, конечно, незачем: надо снова сидеть и ждать вызова. Чиновники сидят с непроницаемыми лицами, на которых написано: не смейте ничего спрашивать. Но толпа уже получила такую хорошую дозу психобработки, что это выполняется само собой: все сидят совершенно беззвучно.

Из счастливых-вызванных образуется очередь к врачебной комиссии. Очередь без всяких западных удобств вроде стульев — нормальный российский хвост огромной длины. Я стою за красивой молодой итальянкой, которая заметно волнуется. Доходит ее очередь: «Вам надо сделать анализ мочи!» — «Когда?» — «Сейчас, немедленно». — «Но как же?..» — «А вот, отойдите за ту ширму». Ширма — высотой до плеч, из параллельных досточек с щелями между ними.

Что именно у конкретного человека проверят или спросят, — тайна. Я уже морально приготовился к мочевой процедуре, но вместо этого получаю сверхлаконичный вопрос: «Сахар есть?» — «Нет!» — закричал я, проявив под влиянием стресса необычную догадливость. — «Белок есть?» — «Нет!» — «Идите, вы свободны».

14 января. Опио.

Мы с Леной возвращаемся в Экс и прощаемся с Ирен и Эдом. В хорошем соответствии с учебниками начала века Лена говорит: *Et maintenant il est temps de se baiser.* Эд отвечает: *Mais il y a trop de monde et en plus il fait froid!*

26 января. Ницца.

Компания из девяти человек — Ирен и ее друзья — на нескольких машинах едет в Ниццу в русский ре-

сторан. Дело нешуточное: компания задумала этот выезд давно, это важный пункт их программы совместных развлечений. Почти всё оказалось чудовищно несъедобно. Компания ужасно недовольна и почти открыто предъявляет претензии мне (хотя я, конечно, был чистой жертвой этой затеи и ни в какой момент ее не одобрял). Очередной раз на самом себе убеждаюсь, что по индивидуализму и асоциальности мы впереди планеты всей: я ни в какой мере не чувствую себя ответственным ни за русскую кухню вообще, ни за ее поганое исполнение в Ницце, и цинично хмыкаю. А французам очевидно, что мне должно быть стыдно.

27 января. Антиб.

Замок Гримальди — музей Пикассо. В 1946 году он прожил здесь счастливо шесть месяцев с Франсуазой Жило и оставил здесь всё на память об этом счастье. Ему было 67, ей около 30. Его творческая производительность в этот период превосходит всякое человеческое воображение. Он прожил после этого еще 26 лет. (Как-то потом я случайно увидел Франсуазу Жило в телевизоре: воспоминания о Пикассо.)

5 февраля. Экс.

К 11 часам иду в университет на свою лекцию («Прагматический фактор в русском ударении») — а в коридоре стоят Добрушин с Катькой, ищут мою фамилию в расписании на стене! Пригласил их посидеть на лекции. «Так я же не понимаю по-французски», — говорит Добрушин. — «Да разве это существенно?» — говорю. Согласился. После лекции сказал: «Да, это событие: присутствовал при том, как Зализняк читает лекцию пятерым девицам в занюханной аудитории с трещиной через всю стену, в здании с сор-

тиром без мыла». Ах, какой же это был диссонанс с моим горделивым ощущением: «смотрите, какая фантастика: я за границей! я читаю лекцию в заграничном университете!». Добрушин это почувствовал, ласково сказал: «Что же делать, если у нас такая несчастная родина!»

Не раз потом вспоминал я этот разговор, не раз помогал он мне чувствовать себя свободнее с самодовольными западными хозяевами.

Италия

8 февраля 1990, четверг.

Ночь в Ницце, в доме у Жаклин (подруги Ирен). В 8 утра поезд на Рим (Барселона–Рим). Неужели все-таки, после трех неудавшихся попыток пересечь францужско-итальянскую границу в 1957 году, я теперь переступлю порог Италии? Поезд идет почти по самой кромке моря — кругом буйная роскошь Французской Ривьеры. Вот уже Ментона. Еще чуть-чуть — и хорошо видимая с поезда выдвинувшаяся как мыс прямо в море скала, в бока которой врезана узкая автомобильная дорога. И на самом кончике мыса, на повороте дороги — французский флаг и в нескольких метрах итальянский. Свершилось: мой поезд уже идет по Италии! Мои французские соседи в купе ни разу даже не взглянули в окно: они продолжают с энтузиазмом обсуждать проценты, которые приносят те бумаги, что у них есть, в сравнении с теми, что они в свое время раздумали покупать по таким-то причинам.

(И мне совершенно не приходит в голову, что я в этот момент потерял право вернуться во Францию, где у меня квартира и через две недели продолжение

занятий в университете: в своей безграничной советской уверенности, что зло для индивидуального человека может исходить только от советской власти, я и не подозреваю, что бывают однократные визы и что моя французская виза — именно такая.)

Итальянский пограничник в Вентимилье небрежен, проходит, почти не останавливаясь (а французских пограничников не было вовсе). И за окном уже Итальянская Ривьера. Проходят отдающиеся звоном в душе знаменитые названия: Бордигера, Сан-Ремо, Империя... Поезд все время идет вдоль самого моря: Савона, Генуя с ее невероятными виадуками, вознесшими автомобили к небу, Рапалло, Ла Специя, Чинкве-Терре, Каррара с ее неправдоподобно белой горой, Виареджо — и вот пора сходить: Пиза.

Перрон в Пизе — первое прикосновение ноги к итальянской земле. И ожидание невероятного оправдывается немедленно: люди, проходящие мимо меня по перрону, — абсолютно немыслимые. Голова начинает кружиться: один за другим проходят самые фантастические и гротескные персонажи Феллини — великаны и карлики, утрированные красавицы и уроды, женщины, намазанные как в цирке, с невероятными носами... Так вот оно что! Оказывается, Феллини — всего лишь реалист! Ему достаточно выйти на любую улицу, и там уже клубятся его персонажи!

(Сколько раз мне довелось в последующие годы бывать на этом пизанском перроне! Хотя бы в тот год, когда я месяц жил во Флоренции, а преподавал в Пизе. И никогда больше ни одного разу не выходили на этот перрон феллиниевские персонажи!)

Пятьдесят минут — и вот уже поезд на Флоренцию. Дорога вдоль Арно. Голубые холмы Тосканы —

по Мандельштаму. Мягчайшая в мире красота —жданная, прославленная и однако же оттого не менее поразительная! Широкий полукруг — и вот уже открывается панорама Флоренции. Вокзал — и в конце перрона ожидающая меня Франческа Фичи-Джусты.

Франческа поселила меня в пустующей квартире своих детей на *via Colletta*. После вселения и первого освоения окрестной территории вышел в город. День уже клонился к вечеру. Дошел до *Palazzo Vecchio*. Острее впечатление не первого знакомства, а узнавания. Впервые увидел Персея Челлини в *Loggia dei Lanzi*.

Потом оказался на *via Proconsolo* и дошел по ее правой стороне до угла *via Ortiuolo*. На этом углу повернул голову налево и обомлел: впервые увидел собор Брунеллески и колокольню Джотто. Что-то вроде удара молнии. Пронзающего, парализующего. Ощущение: не может быть! Про «стендалевскую болезнь» (которой Стендаль заболел от невыносимой красоты Флоренции) я читал — без особого доверия, конечно. И вот в одно мгновение понял, что это может быть чистой правдой. Не знаю даже, сколько времени я простоял неподвижно на этом углу. Долго. Мелькнула даже жалостная мысль: стой, не уходи — больше ты уже никогда не увидишь этого в первый раз!

(И ведь правда: я прихожу теперь на этот угол каждый раз, когда бываю в этом городе, — в разные времена дня и года, при разных освещениях и погодах. Прекрасно всегда; но первого удара молнии уже не вернуть.)

14 февраля. Флоренция.

Сегодня в 16 часов мне предстоит делать свой доклад (о берестяных грамотах). Когда заранее обсуж-

дали с Франческой язык, она сказала: «По-русски не очень хорошо — там будут не только слависты». Я предложил французский. — «Ну кто же у нас сейчас знает французский, — сказала Франческа, — разве что какие-нибудь старые дамы». — «Ну тогда английский». — «Английский, конечно, можно. Но у нас все-таки не очень любят слушать доклады по-английски. По-итальянски всем было бы приятней». И вот я взялся (еще во Франции) за амбициозную задачу изготовить письменный текст доклада по-итальянски. Сидел с плохоньким франко-итальянским словарем, с трудом отысканным в Эксе.

Непредвиденное началось сразу же: в университете студенческая забастовка («Università occupata»), ни о каких лекциях там речи быть не может. «Ничего страшного, — сказала Франческа, — перенесем в Accademia Columbaria. Студентов, правда, скорее всего не будет, но это не беда, пусть послушают взрослые. Зато какой будет замечательный зал — XVI века, с античными статуями!».

Как условились, я зашел перед докладом к Франческе, чтобы идти на доклад вместе. Она дает мне последние наставления: «Единственное, что важно, — чтобы доклад был не дольше 50 минут; 51-ой минуты не должно быть. А говорить можете что хотите. И все будет прекрасно; во всяком случае, *la coreografia sarà bella*» (что именно значила эта последняя фраза, я и по сию пору в точности не знаю: наверное, что красота зала и безмолвного балета окружающих меня статуй скомпенсирует любую мою словесную неизящность).

Трудно передать, какой меня охватил ужас. Я как-то совсем забыл обсудить вопрос о длине доклада и подготовил текст на добротную студенческую пару —

часа на полтора, если не два. И вот я узнаю об этом страшном лимите за пятнадцать минут до начала. Как быть? Обрубить не глядя весь конец, когда кончится время? Выкидывать целые страницы из середины? Пытаться сокращать на ходу каждую фразу? Так ничего и не решив, оказался уже перед слушателями.

Положил перед собой часы и начал читать написанный текст. Стресс с каждой фразой нарастал — от ощущения, что я загоняю себя в ловушку. Бессознательно стала увеличиваться скорость. Чувство погони не отпускало. А у меня все еще даже не перевернута первая страница! И вдруг в какой-то момент осознал, что уже не иду по письменному тексту, а говорю что-то от себя. Это было похоже на отрыв от земли при взлете — только момент отрыва я от волнения не заметил. И дальше этот неустойчивый полет продолжался, причем все время с той же подхлестнутой скоростью — уже не потому, что боялся не уложиться, а от инстинктивного чувства, что останавливаться и даже замедляться нельзя, что от паузы чудо может исчезнуть.

Все случаи, когда мне до этих пор доводилось сочинить и произнести фразу по-итальянски, можно перечислить по пальцам. В университете в 1953–54 годах мы с Гриней Ратгаузом, который учился итальянскому ровно так же, как и я, — самоучкой по книгам, — иногда доставляли сами себе изысканное наслаждение, силась изобразить двух просвещенных молодых людей, беседующих по-итальянски. Читали мы, разумеется, Данте. Гриня, кажется, знал наизусть всю пятую песнь. Я читал еще Бенвенуто Челлини. Что где-то люди пользуются этим языком просто в обычной жизни, мы абстрактно-теоретически знали, но представить себе

реально, конечно, не могли. Точнее, это нас абсолютно никак не касалось. Ведь и сама современная Италия ничем не отличалась для нас от дантовской или от древнего Рима: можно было увлекаться этим, читать об этом, смотреть итальянские фильмы, но попасть туда было не более реально, чем в древний Рим. И мы не ставили нашу красивую эстетическую игру решительно ни в какую связь с идеей разговора с каким-нибудь итальянцем. Поэтому нас не волновало то, что наш язык — лишь пародия на живой итальянский; это ведь была наша игра. И даже когда мы иногда поправляли друг друга, это было тоже всего лишь частью той же изысканной игры филологов.

В позднейшие годы мне однажды довелось встретить албанцев, которые немного говорили по-итальянски. Произошел диалог объемом примерно в три вопроса и три ответа. Потом десятки лет не представлялось никаких подобных случаев. Даже читать что-нибудь по-итальянски доводилось очень редко. И лишь незадолго до начала новых времен в Москве появился незабвенный Марцио Марцадури, который, узнав про мой интерес, уговаривал меня (прекрасным русским языком) сказать хоть что-нибудь по-итальянски. Я сочинил три или четыре фразы и при встрече ему их произнес — он ласково похвалил. Вот и весь мой предшествующий опыт.

Позднее я пытался трезво осмыслить, что же все-таки произошло с языком на том невероятном докладе. Я, конечно, помнил многие куски из подготовленного письменного текста, но наизусть его не знал — мне вообще не дано запомнить наизусть такой длинный текст. К тому же я должен был излагать суть дела короче, чем там было написано. Думаю все же, что

главная причина — сильнейший стресс, позволяющий в течение короткого времени делать то, что намного превышает возможности данного организма в нормальной ситуации. Могу сравнить это только с тем, как я один раз в жизни, будучи никудышным горнолыжником, прошел на соревнованиях слаломную трассу, проехавшись на голове лишь уже в самом низу. Помню такое же ощущение как бы совершенной независимости от меня самого тех микродвижений, которые я за доли секунды делаю, чтобы миновать очередную веху.

Публика приняла всё очень благосклонно, тем более, что главное мне удалось соблюсти идеально: 51-ой минуты не было. Что я говорил, а не читал, было воспринято совершенно как должное. Были и вопросы — не помню даже, как я из них выпутался. Но самое большое счастье мне доставил милейший Леонардо Савойя, мягкий и серьезный. Он сказал (уже потом, а *parte*): «Все было очень интересно. И вы неплохо говорили. Но только, помилуйте, почему вы все время говорили *verace* вместо *vero*? Так могут сказать ну разве что в Неаполе! И не говорите *feudale* — нужно: *feudatario*».

[*Vero* ‘истинный, верный’, *feudatario* ‘феодал’.]

(Я, впрочем, кажется, знаю, почему *verace* вместо *vero*. Вот она, причина:

*Г' non so ben ridir com'io v'entrai;
Tant'era pien di sonno in su quel punto
Che la verace via abandonai.*

Dante. Inferno. Canto I, 4.)

После доклада в Италии непреременный ритуал: повести докладчика куда-нибудь выпить кофе. Шумной веселой толпой ввалились в кафе, каждый старается мне что-нибудь любезное сказать или спросить —

разумеется, по-итальянски, раз я оказался такой любитель. И тут я обнаруживаю, что мои интеллектуальные и волевые резервы истрачены строго до конца — наступила расплата за суперстресс: не понимаю решительно ничего из того, что мне говорят, и не помню ни одного итальянского слова, кроме *si*. Не берусь судить, как отнеслись в душе мои спутники к моей глупой шутке — что я вздумал разыгрывать перед теми же самыми людьми, которые только что слушали мой доклад, роль человека, не знающего из их языка ни звука.

Когда наконец вышли из кафе и стали прощаться, расходясь в разные стороны, моя единственная забота была о том, чтобы не попасть кому-нибудь в попутчики. Ткнул пальцем в какой-то темный переулок, сказал «Мне туда» и оказался наконец один — со счастливейшей возможностью помолчать.

16 февраля. Флоренция.

Донателла Феррари-Браво везет меня в Accademia della Crusca к своему мужу Д'Арко Авалле. Д'Арко — не фамилия, а такое единственное в своем роде имя с апострофом. Он до сорока с чем-то лет был военным летчиком-истребителем, а потом круто повернул жизнь и занялся филологией — да так, что стал самым знаменитым медиевистом и одним из главных в этой старинной академии. Академия чуть на отлете от города на холме, в неслыханном дворце — королевском. Сам Д'Арко понравился мне чрезвычайно. Все стены его кабинета состоят из картотеки конкорданса итальянской поэзии до 1300 года. Единственный, кого он из этой эпохи наотрез не признает, — это Данте. Заверяет меня, что это историческая случайность: из великой плеяды замечательных поэтов история сохранила

и превознесла одного, не главного. Составляет комментированный свод всех итальянских поэтов той эпохи, который, видимо, составит десяток томов по две тысячи страниц. Данте, если я правильно понял, там не будет. (А через сколько-то лет Д'Арко уже с гордостью показывал мне вышедший наконец первый том. Поднять его можно было только двумя руками. Сделан был изумительно.)

А на вечер они повезли меня к себе в дом, километрах в тридцати от Флоренции, близ Chiesanova, по дороге на Вольтерру. Дом оказался виллой XVI века, значащейся в каталоге лучших старинных вилл Италии. Кругом вся из мягких холмов зелено-голубая Тоскана — нежнейшая, размягчающая душу, готовый подлинник для рисующего *paradiso terrestre*. У четы Авалле дочь Джиневра, лет пяти-шести. В тот первый раз я играл с ней на полу, в восторге от того, что мог понять, что она говорит («Почему моя кукла плачет?»). А потом она стала живым хронометром моих визитов в Италию — ей всегда оказывалось на год больше...

17 февраля. Рим.

Из Флоренции я несколько раз ездил утренним поездом в Рим, с тем, чтобы к ночи вернуться. У меня ведь не было ни малейшей гарантии того, что я еще когда-нибудь смогу побывать в Италии, — надо было все возможное ухватить за эти две недели.

В Риме продолжался тот же восхитительный процесс узнавания. Проведя целые часы на *piazza Navona*, я вышел наугад в сторону *corso Vittorio Emanuele* и перешел его. Попал в какие-то переулочки. Вдруг слева за углом открылась статуя, стоящая посреди маленькой площади. Как будто что-то знакомое прогля-

нуло в этой фигуре. Пронзила мысль: вдруг это то самое место? место, где был костер, «Цветочная площадь»? На дальней стороне площади едва различимое название. Вглядываюсь: *Campro dei...* Неужели *Fiori*? И буквы действительно начинают прорисовываться и складываться в слово *Fiori*! Поворачиваю голову и вижу: вся правая часть площади покрыта цветами — сплошной цветочный базар. Такая встреча с Джордано Бруно.

Вспомнил, как когда-то в 50-е годы к нам в университет пришла дама-киношница, ища студента, который мог бы прочесть итальянский текст. Ей указали на меня. Меня повели в студию документальных фильмов на Лесную. Объяснили, что снимают документальный (*sic*) фильм о Джордано Бруно и нужно сыграть «звуковую роль» Джордано Бруно — произнести в подлиннике отрывок из его текста. Все это — и Джордано Бруно, и студия с ее манящей богемно-деловой атмосферой — интриговало и волновало. Я разыскал в библиотеке подлинные тексты Джордано Бруно; они оказались частью по-итальянски, частью по-латыни. Прочел, конечно, лишь чуть-чуть, но все же соприкоснулся. Было очень трудно, но страшно интересно. Потом в студии читал тонким, срывающимся голосом итальянский текст. Как я сейчас понимаю, на голос средневекового философа это не могло быть ни в какой степени похоже. Вероятно, это поняли и в студии. И я даже не знаю, сделали ли они вообще этот свой документальный фильм. Искать, не покажут ли его где-нибудь, как-то тогда не приходило в голову.

Подошел ближе — вокруг памятника клубящаяся густая толпа. В разных частях толпы одновременно говорят несколько ораторов; вокруг каждого образу-

ется тесный кружок. Постепенно понял, что это нечто вроде стихийного митинга протеста против Ватикана, который в очередной раз отказался реабилитировать Джордано Бруно. Посмотрел, что такое собрание римских интеллектуалов, — рабочих, похоже, здесь не было. Особенно запомнился красноречивый яростный физик, похожий на Арнольда, который в своей речи многократно торжественно возглашал: «Джордано Бруно сказал...» — и дальше шла длинная цитата наизусть.

18 февраля. Виченца.

С вечера этого дня живу в Виченце в семье Андреа и Сильваны Чеккин. Принимают меня как лучшего друга и отвели мне целую квартиру (уехавшей в Южную Америку сестры). Еще бы — ведь у меня с этой семьей прямейшая связь: я бывший научный руководитель Лены Тугай, которая дружит в Париже со своей коллегой по преподаванию французенкой Армель, которая замужем за Бруно Гроппо, который есть родной брат Сильваны Чеккин. А что я из этой цепочки знаком с одной только Леной Тугай, — разумеется, пустяк.

Теперь уже язык общения только один — итальянский. Вживаюсь. И сразу оказывается, что интонация здесь не такая, как во Флоренции, — венецианская. Мое постоянное наименование *Professore* звучит у Сильваны с таким ярким повышением тона на конечной части, что я все ее фразы в первую секунду воспринимаю как вопрос. Понемногу привык.

За обедом у Чеккинов первый раз в жизни попробовал спагетти. И это всем сразу стало ясно: на вилке у меня немедленно оказалась вся тарелка. Десяти-

летний сын раскрыл рот от изумления: «Il signore non ha mai mangiato spaghetti?!» (синьор никогда не ел спагетти?). Сильвана захотела даже сфотографировать небывалую сцену: взрослый человек впервые ест спагетти. С энтузиазмом принялись меня обучать; но их преподавательский успех был умеренный.

Подруга семьи Чеккинов Анна водит меня по городу, с гордостью показывает палладиевскую Виченцу. «Я вижу, вы сравнительно прилично говорите по-итальянски, — говорит она, — но только откуда у вас этот неприятный флорентинский акцент?» Лестно, конечно, но думаю, что флорентинским акцентом в здешних местах называют в точности то, что предписывается всеми учебниками под именем итальянского произношения. Впрочем, Анна настоящая вичентинская патриотка — она не очень жалует и Венецию: «Боже мой, зачем вам ехать в Венецию? Там сейчас как раз карнавал, чудовищная теснота и суета!»

В последний день жизни в Виченце я принес бутылку Asti spumante. «Asti spumante è una cosa seria (вещь серьезная)», — сказала Сильвана. Быстро убрала со стола все, что на нем было, сняла скатерть, вытерла стол, постелила новую скатерть, более торжественную. Только после этого поставила мою бутылку. Как только она опустела, немедленно откуда-то появилась другая, тоже spumante, но уже местное — spumante moscato.

20 февраля, вторник. Удине.

Визит в Удине — первое знакомство с Ремо Факкани (а придумал нас познакомить добрейший Марцио Марцадури; сделал это заочно).

В 16 часов моя вторая в жизни лекция по-итальянски — первая в Удине (тема та же, что во Флоренции).

Но теперь у меня уже был опыт нескольких дней общения на языке. Стресс был уже не такой большой, как на первой лекции, поэтому говорил не так быстро и более коряво. Но все-таки говорил, а не читал.

22 февраля, четверг. Венеция.

Сегодня пик карнавала — Giovedì grasso. Венецианский карнавал впечатляет необыкновенно. Шума поразительно мало. Полицейских не видал ни разу. Ряженные торжественно молчат. Аплодисменты не приняты — в их роли выступают щелчки фотоаппаратов. Достоинство — главное. Нет выкриков, нет пьяных, нет приставания к девицам. Это бал-спектакль, куда допущены все. Ряженные — артисты. Туристы — оценивающая публика. Необыкновенная мягкость и некая разлитая вера в то, что люди — носители дружелюбия и достоинства. Антипод всего нашего родного. Почти всё молча или с минимумом слов: «Позвольте вас сфотографировать», «Grazie». Праздник на душе. А ведь, конечно, среди туристов есть всякие; но здесь не смеют себя проявить, подчиняются господствующему благородному стилю.

23 февраля. Равенна.

Встал в 5.40, вышел в 6.30. Темень, продрог. Тримя поездами в Равенну (7.05 на Падуя, 8.02 на Феррару, 9.20 на Равенну), чтобы успеть до закрытия музеев. А в Равенне уже жарко: 23°. Городок тих и провинциален. Без тротуаров.

И какой же баснословной красоты равеннские храмы! Один только перечень звучит сказочно: Sant'Apollinare Nuovo, Battistero degli Ortodossi, Cappella Sant'Andrea (в архиепископском музее), Basilica di San Vitale,

Mausoleo di Galla Placidia. Почти невозможно сказать: это нравится больше, это меньше. В каждом обомлеваешь.

Посетителей почти нет. Только экскурсии местных школьников. Учитель строго спрашивает: «А теперь смотрите сюда: это какой стиль — романский или византийский?» И дети отвечают.

Вскоре после 13 часов все музеи закрываются. Больше здесь делать нечего. Городок как вымер. На вокзале легкая неразбериха. Радио сообщает: «Близ Рубикона железнодорожная авария, все поезда будут прибывать с опозданием».

Вдруг охватывает странное чувство, смесь восторга и легкого тревожного холодка: где же я теперь, на каком краю света? Ведь если попал из Москвы в Париж, то это уже абсолютно другой мир. А я из Парижа уехал в провинцию — в Экс. А потом еще на одну ступень удалился от исходной точки — попал во Флоренцию. Мало и этого — переехал оттуда в провинциальную Виченцу. И наконец теперь на трех поездах забрался в совсем уж глубинную маленькую Равенну. И ни один из знакомых мне людей на земле даже отдаленно не представляет себе в данный момент, где я нахожусь.

Но надо все-таки что-то придумывать, как выбираться, — предаваться чувствам уже больше не приходится. В конце концов выбрался, разумеется.

Франция

25 февраля 1990, воскресенье.

День большого переезда. 6.59 поезд на Милан. 9.15 Милан–Генуя. 11.53 Генуя–Вентимилья. Это граница, здесь картина меняется: на следующий поезд моей трассы (на Ниццу, 15.25) просто так не сядешь — нужно встать в длинную очередь перед закрытой дверью французской таможни. Скоро уже отправление поезда, а дверь все еще наглухо закрыта. Она открывается лишь за несколько минут до отправления. С паспортами наперевес люди устремляются вперед и практически все минуют пограничника без задержки.

Но вот он берет мой паспорт — и все движение очереди останавливается. «[Sesesepe], — читает он вслух с явным интересом, — такого у меня еще не бывало! Проезжали только два албанца». Что уже настало время отправления, а за мной еще масса народу, его никак не трогает. Разговаривает со мной скорее благосклонно: уж очень интересный для него случай! Я начинаю ему что-то рассказывать про свои занятия в университете в Эксе (чудовищная ошибка с моей стороны, но я ведь совершенно не подозреваю о том, что у меня нет больше никакого права на въезд во Францию). К великому счастью, про университет ему совершенно неинтересно, и он уже почти протягивает мне мой паспорт. Но вдруг спохватывается: «Постойте-ка, вам же нужен штамп! Только он у начальника; но сейчас я к нему схожу». И он спокойно перегораживает барьером движение всей оставшейся очереди и уходит с моим паспортом. Очередь стоит смирно — никто не бунтует и не кричит ему вслед. Наконец он все же возвращается. Отдает мне паспорт. Поезд, оказывается, задерживают до конца всех этих

процедур. С некоторым опозданием он отправляется. Дальше уже все просто: 16.36 Ницца–Марсель и 19.30 Марсель–Экс.

Что в действительности произошло на этой границе, я осознал только года через два, когда уже стал разбираться в визах. Если бы мне все-таки удалось довести до сознания пограничника, что я уже побыл во Франции и отправился на экскурсию по Италии оттуда, меня бы, конечно, не пропустили — и что было бы дальше, сейчас можно только гадать; ничего хорошего не было бы точно. Но у моего пограничника уже сложилась в уме картина русского, который въезжает во Францию именно через его пост, — должны же и на его скучном посту иногда бывать интересные случаи! И он пропускал мимо ушей все, что не укладывалось в эту картину. А въездной штамп начальник спокойно поставил по другой, но тоже случайной причине: когда я въезжал во Францию поездом Брюссель–Париж, пограничники схалтурили — прошли по вагону рысью, не проверяя паспортов. Так что мой паспорт был свободен от въездного штампа.

Любопытно другое: как много я выиграл от своего дремучего невежества. Ведь если бы я уже хорошо разбирался в визах, мне было бы ясно, что возможность съездить в Италию из Франции для меня закрыта. И не было бы моего изумительного путешествия — со всеми его впечатлениями, новыми людьми, венецианским карнавалом и драматическим докладом.

10 марта 1990. Экс.

Анюта уезжает в Париж. Но она проковырялась лишние 10 минут на выходе — и наше такси не пробилось через городские пробки к вокзалу к отходу

поезда Экс–Марсель. На том же такси гоним прямо в Марсель. Таксист слушает наш иностранный разговор — и ясно понимает, что несчастную жену муж загрызает за потраченные из-за опоздания деньги. Его сочувствие к Анюте так велико, что происходит нечто для Франции неправдоподобное: в Марселе на вокзале при счете в 206 франков он не только отказывается взять чаевые, но и дарит Анюте 6 франков — берет только 200.

Италия

10 мая 1990. Венеция.

Palazzo Giustinian-Lolin. В задней его части так называемая Fondazione Levi — гостиница с некоей профессорско-академической окраской. Отводят комнату № 25 со словами: «В этой комнате останавливался Лотман». («Эх, хотел бы я сейчас оказаться в комнате, где останавливался Лотман», — сказал он мне сам потом в Москве.)

11-го лекция в университете на Ca' Garzoni, у Витторио Страды; реально организацией занимается его жена Клара Янович, моя бывшая однокурсница, которая теперь здесь тоже преподает. Пришли Ремо Факкани и Розанна Джаквинта. Задняя стена аудитории, вся стеклянная, нависла прямо над Canal Grande. Слушатели сидят к ней спиной, но я-то — лицом, и я все время вижу, как проплывают гондолы и вапоретто. Но самое ослепительное — даже не солнечный Canal Grande, а венецианские студентки, которые сидят прямо передо мной. Не знаю, может быть, это тот же эффект, что на перроне в Пизе: потом уже никакие другие так не ослепляли. Клара Янович фото-

графирует меня, а мне, наоборот, страшно хочется, чтобы она от доски сфотографировала зал — так, как его вижу я. Но куда там: она своим студенткам любезностей делать не намерена. И после лекции обвела их взглядом так сурово, что ни одна из них не посмела задать ни одного вопроса — к большому моему сожалению.

14 мая. Пиза.

У меня сложилась маленькая мечта: когда-нибудь пройти из одного итальянского города в другой пешком. И вот однажды все-таки получилось. Будучи в Пизе, сел на автобус, который довез меня до маленького городка Тиррения на берегу моря (однако же не Тирренского, как можно было бы думать, а Лигурийского). Сойдя с автобуса, пошел вдоль моря к северу — обратно в сторону Пизы. Вначале это был пляж. Но как же он был пустынен и дик в сезон, когда по итальянским понятиям еще не только купаться, но и опустить ногу в воду нельзя. Ни единой живой души ни влево, ни вправо до горизонта. Постепенно пляж перешел в обычный берег. Трасса моя оказалась заданной совершенно жестко: в двух метрах слева море, в десяти метрах справа шоссе — как это ни странно, практически пустое. Между шоссе и морем — защитная волнорезная полоса из огромных каменных глыб. Глыбы эти показались мне чем-то странными, слишком элегантными для их грубой функции. Нежного розовато-светло-коричневого цвета, с прожилками, местами почти белые. Только те, что у самой воды, почернели от морского налета. И вдруг осознал: да это же мрамор!

Так ведь и правда: совсем недалеко отсюда Каррара — что им еще и делать с огромными массами

мраморного лома и глыбами не самого изысканного рисунка и не самого модного цвета! Это их самый доступный строительный материал, и его легко хватает и на сотню километров берега.

Тишайший яркий теплый день, склоняющийся к вечеру. Море — тихое как залив. Пять километров такого райского пути, и показался городок Марина ди Пиза, славный ни много ни мало тем, что здесь высадился занесенный в Италию Эней, а еще — одной из самых красивых тосканских церквей.

15 мая. Флоренция.

Невзначай получаю от Симонетты очень внятный урок на тему о том, что такое флорентинец. Недалеко от Эмпполи есть гора, с которой пытался летать Леонардо да Винчи (городок Винчи тут совсем близко). «Но чтобы вам ее показать, — говорит Симонетта, — нужно, чтобы с вами был какой-нибудь флорентинец или итальянец».

22 мая. Тренто.

После лекции Даниэла Рицци повела меня в Трентский собор — место Concilio di Trento. Я пришел в столь сильное чувство от того, что я в таком историческом месте, что Даниэла не выдержала: «Да не размахивайте же вы так руками!» На самом что ни на есть почтенном итальянском севере я вел себя прямо-таки хуже южного итальянца.

23 мая. Озеро Гарда.

Автобус из Сирмионе (на озере Гарда) в Верону. Вечереет. Я устроился у переднего стекла и смотрю вперед. И вот вдали показались дома по обе стороны

от нашей дороги, и видно, что поля кончаются и дорога скоро превратится в городскую улицу. В самом начале этой улицы поперек нее на высоте второго этажа длинное полотно с какой-то надписью. Выглядит очень театрально — как декорация к какой-нибудь пьесе Шекспира. Дома классического итальянского контура, нежной окраски, с огромными карнизами — постановщик соблюл стилистику превосходно. Приближаемся, буквы начинают проясняться. И что же? — действительно Шекспир! Надпись читается: VERONA.

1991

Франция

19 февраля 1991. Париж. Университет Paris X – Nanterre.

Мадам Жоанне, фактическая начальница русской кафедры, расспрашивает меня о моей жизни, о прошлых посещениях Франции — подробно, сочувственно, даже с материнскими нотками. Разговариваем два часа. Говорю охотно и свободно.

А месяца через три из накопившихся мелких фактиков и словечек вдруг взрывом родилось ясное понимание: да ведь вся эта беседа «по душам» имела ровно одну цель — проверить (и даже точнее: подтвердить) уже готовое мнение, что я связан с КГБ. И, разумеется, мнение мадам подтвердилось. Не может же человек в своем уме разговаривать с новыми знакомыми так открыто и простодушно — ясно, что это тщательно выработанная маска!

Мне в общем-то повезло, что я не догадался тогда же. Трудно даже угадать, каких глупостей я мог бы тогда наговорить или, того хуже, наделать.

Жорж Нива, которому я позднее рассказал об этом, рассмеялся и решительно подтвердил: «Разумеется, проверяла. Она ведь подозревает абсолютно всех».

Но если быть объективным, винить мадам Жоанне особенно не в чем: ведь верно же, что советская власть дважды пустила меня во Францию — в 1956 и в 1967 году. Мое возмущение эгоцентрическое и пустое: почему она, посмотрев на меня и поговорив со мной, не увидела сразу же, что я не тот человек! почему не пришла к выводу, что в моем случае советская власть плохо провела проверку! Но с какой стати я

могу ожидать от чужого человека такой степени сочувственной внимательности? Притом на фоне абсолютной парижской аксиомы, что искренность бывает только у дебилов?

Но, конечно, некоторое непосредственное ощущение того, что такое жизнь русских интеллигентов в Париже, я получил. Это адская система всеобщей взаимной подозрительности и недоброжелательства. Рассказы о бешеной вражде Максимова и Синявского и тому подобных вещах, которые я слушал в общем-то вчуже, приобрели для меня некоторую плоть.

Март 1991. Париж.

Нищий в метро просит подаяния: «C'est vraiment pour un restaurant!» (это правда же на ресторан!).

Тоже в метро. Лысый, лет 35: «Je m'appelle Vladimir. Je suis d'origine russe. Je joue de la balalaïka dans les métros et les RER, parce que j'ai perdu mon emploi» (меня зовут Владимир; я русского происхождения; я играю на балалайке в поездах метро и RER, потому что я потерял работу). Французский выговор чистый.

Из запомнившихся парижских афиш:

Découvrez les joies du capitalisme (откройте для себя радости капитализма).

Dérêche-toi, la vie bouge! (поспеши, жизнь не стоит на месте).

Mon look d'enfer, mes pieds sur terre (мой вид срывает насмерть, мои ноги на земле) — крепенькая самоуверенная красотка.

Merci aux hommes d'aimer les femmes (спасибо мужчинам за то, что они любят женщин) — дамочка с цветами.

Merci aux femmes qui s'arrêtent de courir (спасибо женщинам, которые делают остановку в беге).

Среди моих студенток есть феноменальный лингвистический талант: Julie Groen (наполовину датчанка, Grøn). 7 марта она самостоятельно нашла правильную интерпретацию грамоты № 589, а именно, разгадала *нечи ати*. 11 апреля без малейшей помощи безупречно правильно разобрала *замъке къле двъри кълъ* в грамоте № 247! Но разговаривать с ней очень непросто. Например, я спрашиваю на занятии: «Caroline, как вы произносите слово ‘Кувейт’?» (Это в феврале, в дни, когда газеты и радио переполнены этим словом.) — «[kowet]». — «А вы, Julie?» — «Je ne le prononce pas du tout (я его вообще не произношу)».

У меня бывают занятия, на которые приходит одна Жюли. И тогда можно проводить занятие на таком уровне, который в обычном случае немислим. Мне не очень ясно, впрочем, допускаются ли занятия с одним слушателем университетскими правилами. Во всяком случае однажды во время такого занятия дверь аудитории довольно резко открылась и вошла одна из дам с русской кафедры. Я спросил, что случилось. — «Я проверяю, нет ли в этой аудитории трещин на потолке».

12 марта. Меня вызывают в администрацию университета Париж-Х и заявляют, что я должен им принести из своего консульства справку о том, как зовут моего отца и мать. Отвратительный шок: я приложил все свои усилия к тому, чтобы моя нога не ступала на порог советских учреждений за границей; и вот сейчас французская бюрократия, которая на словах против советской системы, обнаруживает свою истинную единокровность с советской бюрократией и с советской системой надзора за людьми. Справка из консульства явно нужна только для того, чтобы прове-

речь, не вызываю ли я недовольства собственных властей: если да, то они мне никакой справки не дадут. Ни для кого не секрет, что главный прием слежения за своими соотечественниками у посольских — заставить их по какому-то ни было поводу прийти в посольство или консульство. А там уже своя территория и свой разговор. И вот меня загоняет туда французский университет — под издевательски нелепым предложением!

Я понимаю, что такую справку мне в консульстве скорее всего дадут; может быть, даже (хоть и не очень вероятно) без особых унижений. Но оскорбительность и циничность всей ситуации столь велика, что мне ясно: в консульство я все равно не пойду, что бы из этого ни последовало. Я отвечаю: «Как зовут моего отца и мать, я знаю и готов вам сообщить. А в консульстве этого как раз не знают». Дама в канцелярии меряет меня ледяным взглядом и дает понять, что аудиенция окончена.

Кара наступила не сразу; она оказалась банальной и в высшей степени характерной: из шести месяцев, на которые я был приглашен, мне заплатили только за три. Про три остальные мне было сообщено, что у меня недостает какой-то необходимой формулировки в визе. Жозе Жоанне объяснил мне тогда: «Что же вы хотите? Вы же их рассердили!» А то ведь я тогда еще мог поверить, что дело действительно в визе. Такой получился хороший урок на все ту же тему «правда ли, что все зло для частного человека только от советской власти».

14 марта. Мы с Алешей Шмелевым разговариваем в вагоне метро (точнее, RER) — разумеется, по-русски; и громко, потому что шумно. На нас с неприязнью смо-

трит рыжеусый француз — вылитый Bel Ami из иллюстраций к Мопассану. Морщится. Наконец, не выдерживает и передразнивает: «Soua, soua, soua!»

Каково отыгрался за Маржерета!!

(Шмелев не видел: стоял к нему спиной.)

16 марта. Утром гулял по лужайкам и аллеям Cité Universitaire. Дошел до футбольного поля. Взглянул — и вдруг испытал шок узнавания: да это же то самое поле, где был столь памятный для меня матч 34 года назад, весной 1957 года. Тогда мне было не до того, чтобы спрашивать, где будет игра, — меня просто куда-то привезли на машине и выпустили на поле. А Cité Universitaire я практически не знал, потому что почти никогда там не бывал. И вот теперь какие-то мелкие детали выплыли из подсознания и стало ясно: это было именно здесь.

Это был традиционный матч между Ecole Normale de la rue d'Ulm и Ecole Normale de Saint Cloud. Я не имел о нем никакого понятия еще за час до начала. Ко мне ввалились несколько моих соучеников по Ecole Normale и сказали: «Немедленно одевайся — ты едешь с нами и будешь стоять у нас в воротах; ты ведь рассказывал, что ты у себя дома был вратарем». — «Вы с ума сошли, — сказал я, — я же играл по сути дела только в дворовых командах!». — «Мы прекрасно понимаем, что ты плохой вратарь, — ответили они с безупречной французской объективностью и бездушностью, — но у нас безвыходное положение: наш вратарь свалился сегодня утром с температурой 40».

На меня надели наколенники, которые я видел впервые в жизни, и игра началась. В какой-то момент я совершил ошибку, естественную для дворовых вратарей (впрочем, в СССР нередкую и у настоящих вра-

тарей), — сделал с мячом не три шага, как тогда требовали международные правила, а больше. Тут произошло невероятное: на меня набросились за это не чужие нападающие, а свои защитники! Это вместо того, чтобы хором яростно орать, что никакого нарушения не было! Я был ошеломлен: рухнула и рассыпалась пылью аксиома советской жизни — «свой всегда прав». Как?! люди моей команды судят меня объективным судом! общим для всех! В этот миг я получил один из самых сильных уроков миропонимания в своей жизни. Мне впервые так ясно открылось, что очевидное для меня — не всечеловечно: у других, оказывается, может быть другая очевидность! Мне кажется, я вышел с этого матча уже не совсем тем же самым человеком, что прежде.

(Послушайте и сейчас любого российского футбольного комментатора на игре своей команды с иностранной, и вы увидите, как взрослые дяди продолжают последовательно внушать всё ту же дворовую аксиому новым поколениям российских мальчишек.)

Матч кончился со счетом 2:1 в нашу пользу. Лично у меня особых успехов не было, кроме одного: был момент, когда нападающий выскочил один на один и пробил метров с двенадцати, но я успел выбросить руку и перебросить мяч через верхнюю штангу. После игры тренер повел команду в кафе отпраздновать победу пивом. Кто-то похвалил и меня за тот эпизод. Но другой мой сотоварищ возразил: «За что же тут хвалить — это же был чисто рефлекторный жест! (rig réflexe)». И я с потрясением, но тем не менее с полной ясностью почувствовал: он не имеет решительно ничего лично против меня, им движет только железная картезианская объективность!

23 марта. Опло.

Ирен устраивает *soirée russe*: les blini, la kacha, селедка и т. п. Ее гости только недавно вернулись из совместной туристской поездки по России и полны впечатлений. У нескольких из них уже готовы фотоальбомы об этой поездке. Общее настроение: поездка удалась! в следующий раз все на Суматру!

(Все-таки ничем не выбьешь из русского человека ясное ощущение, что кому все равно, что Россия, что Суматра, тот просто другого биологического вида!)

5 апреля. Париж.

Гуляю в окрестностях Ecole Normale. На углу Муфтар и Арбалет вдруг кто-то сбоку бросается мне на шею. Поворачиваюсь — Наташа Горбаневская. «Я же здесь рядом живу, всегда хожу в этот вот магазинчик на Арбалет». Жалуется на здоровье. Посидели в кафе, поперебирали прошлое.

11 апреля. Мелкие удовольствия тщеславия. Два студента разговаривают в метро: «Ты не помнишь, как можно перейти коротким путем по лестнице с Gare du Nord на Gare de l'Est?» А это как раз моя маленькая гордость: я открыл для себя этот узенький переходик — знаю, в какой переулок надо нырнуть и на каком совершенно незаметном месте повернуть!

23 апреля. Утром экзамен, а вечером мы с Леной Тугай в гостях у Никиты Струве в их загородном доме. Принимают очень любезно. Дом свободен от французского стандарта. Некрашенные ставни. Машину Струве не запирает. Хозяйка очень аристократична, ее русский язык изумителен. Château-neuf du Pape она

не пила никогда. Тут же Blandine Lopouchine, которая только что сдавала мне экзамен (и страшно волновалась). Много всего рассказываю; но все же чувствую себя не слишком уютно. Это аристократический прием, т. е. антоним душевного. Настоящим удовольствием такое времяпровождение назвать не могу.

Италия

7 мая 1991, вторник. Неаполь.

Впервые в Неаполе. На вокзале в такси — и сразу начинается американский боевик. Машинами покрыто все видимое пространство; как они могут при этом хотя бы шевельнуться, непонятно. Спрашиваю таксиста: «Если сейчас, в два часа дня, здесь такое, то что же в 8 утра?» — «La guerra!» — с гордостью отвечает он. Каким-то образом он все же продвигается к краю площади — и ныряет в улочку, по моему представлению, едва ли не противоположную нашему направлению (я заранее изучил план на случай, если придется добираться пешком). «Как странно мы едем», — говорю. Смотрит на меня с легким проблеском уважения: «У нас коротким путем едет тот, кто никуда не спешит». Едем какими-то переулочками, тоже вовсе не пустыми, с непрерывными поворотами. Выскакиваем на улицу с трамвайными путями посередине. Таксист сперва идет по рельсам за трамваем, потом выходит левее, на встречные рельсы. Впереди встречный трамвай, и он уже отчаянно бречит, но таксист блестяще завершает маневр обгона. И вот приехали. Благодарю таксиста за то, что познакомил меня с духом города мгновенно после приезда.

В гостинице немедленно звонок от Риккардо Пиккьо: «Через 40 минут синьорина Мораччи sarà a sua disposizione» (будет в вашем распоряжении). И красотка-аспирантка действительно тут же ведет меня на прогулку по городу. Вечером ужин в каком-то подвале: только что приехала в Италию ученица Лотмана Маша Плюханова (впоследствии постоянная итальянская жительница). Необычайно шумно и весело, швейцарско-французской ресторанной натуги не чувствую. Сердце компании — сам Пиккьо. Напоминает мне Якобсона (о котором много рассказывает); остроумен, язвителен, но не зол.

Среда, 10 утра — первая лекция (вообще о берестяных грамотах); полная аудитория — человек девяносто. Получилось довольно удачно, но недешевой ценой. После этого больше всего хотелось немедленно вернуться в гостиницу и расслабиться. Но куда там: сразу же ведут на новую прогулку по городу. Сумку велели оставить в университете: Неаполь есть Неаполь. Среди достопримечательностей — некая знаменитая пиццерия. «Ну, какую именно пиццу вы бы сейчас хотели?» Произношу долго не думая то название, которое встречалось мне в других местах, довольный уже тем, что я хоть одно нужное название знаю: *pizza napoletana*. Дружный хохот покрывает мои слова: как выясняется, это самое смешное, что можно сказать в Неаполе.

С ужасом думаю о том, что через час моя вторая лекция, а у меня уже совершенно подкашиваются ноги и изрядный дискомфорт в груди. Пытаюсь сказать что-то жалобное сопровождающим. «Ну, это не проблема! Идемте». И ведут меня в еще один подвал (как я понял позднее, просто их любимое кафе). Происходят

какие-то переговоры, после чего мне приносят на донышке крошечной чашечки чуть-чуть чего-то почти черного. Не ожидая никаких разъяснений, я выпил, как всякое лекарство, залпом. Эффект был такой же, как со стаканчиком от Азазелло у мастера. Внутри меня что-то взорвалось, белый свет померк, язык отнялся. Кажется, ко мне бросились с водой. Постепенно жизнь все-таки вернулась. А на лицах окружающих была написана гордость.

И это зверское лечение действительно помогло: вторая лекция в 15 часов (для лингвистов, о древне-новгородском диалекте) прошла успешно. Но после нее полностью охрип. На сей раз уже решительно бросился в гостиницу и проспал мертвым сном до 11 вечера.

После этого, однако же, захотел еще прогуляться по вечернему городу и позвонил Пиккьо, живущему в той же гостинице. Он реагировал почти свирепо: «Погулять в 11 вечера?! Ни в коем случае! Самоубийц и без вас хватает!»

Красоток-аспиранток у Пиккьо не одна, и в четверг меня уже развлекает Марина ди Филиппо. У нее машина. «Куда поедем?» Выбираю Везувий и Помпеи.

Склоны Везувия покрыты желтым и красным — цветущим дроком (*ginestra*) и маком. *Ginestra* вдоль серпантинного подъема удивительно нежна и так соответствует какому-то априорному представлению о красоте Италии. Прошу Марину остановиться — чтобы сфотографировать и понюхать. Запах удивительный, очень тонкий.

(С чувством рассказываю потом об этом Джорджо Цифферу. Он улыбается. Подходит к полке и достает

томик: Леопарди, стихотворение «Ginestra на склонах Везувия». «Это у нас хрестоматийное».)

До самого верха Везувия автомобильная дорога все-таки не доходит. Поднимаемся пешком. Следы цивилизации, увы, слишком обильны: склон у вершины довольно плотно покрыт жестянками и бутылками. Но вид сверху такой, что об этих мелочах забываешь. Неаполитанский залив виден весь целиком. Яркое солнце и легчайшая дымка. Неаполь — широкая оранжевато-розовая полоса вдоль дуги берега. Ближе к нам полоски поменьше — Геркуланум, Кастелламаре; вдали еле видимое Сорренто; на горизонте Капри.

Кратер в совершенно спокойном состоянии. Но все равно впечатляет какой-то угрюмостью и дикостью форм по контрасту с окружающим туристским раем. И невольно домысливаешь, как выглядела эта ныне холодная лава.

Марина отвозит меня вниз к Помпеям и уезжает. Впадаю в океан туристов. Но если постараться, можно все-таки отыскать и почти безлюдные закоулки. Особенно притягательны улочки с табличкой «Проход воспрещен». Они по пояс заросли буйными травами, здесь полная тишина, жарко, в дальнем конце улочки чуть виднеется мягкий контур Везувия, и над всем этим нежный запах ginestr'ы.

14 мая. Венеция.

Маленькое почтовое отделение в переулочке. Почему-то скопилось довольно много народу — человек шесть. Пожилой господин брезгливо смотрит на стоящих впереди него женщин и чуть отстраняется — он не хочет быть членом очереди. У окошечка какая-то задержка, дело затягивается. Господин не выдержи-

вает и восклицает: «Что такое! Почему я должен здесь ждать! Sono veneziano!»

15 мая. Тревизо.

Я живу здесь в гостинице Al Suog, очень скромненькой. Хозяин — жовиальный средиземноморский балагур, с юмором и блеском. Спрашивает меня, какой я профессии? Говорю: «Professore». — «Ну это уж извини, этого никак не может быть». — «Почему?!» — «Потому что никогда, ни в коем случае, ни при каких условиях, никакой профессор не остановился бы в моем заведении!»

18 мая. Венеция.

Анюта, Туровский, Боря в Fondazione Levi. Утро. В комнате вольный беспорядок. Вдруг резкий стук в дверь и голос служительницы возвещает: «Polizía!» — «Ну вот, уже!» — думает Анюта. Быстро перебирает в уме возможные причины, по которым ее должна покарать полиция. Их оказывается немало — российский человек ни в какой момент не может чувствовать себя полностью чистым перед полицией. С ужасом оглядывает беспорядок в комнате — но убирать уже поздно. Делать нечего, приходится открывать. На пороге служительница со щеткой и тряпкой: pulizía (уборка).

В моей комнате меня ждет пакет. «Это вам прислали подарок», — объясняет горничная. Раскрываю: «Fondamenta degli Incurabili» Бродского от Ремо Факкани. С согласия Бродского издано в итальянском переводе раньше, чем в оригинале.

Германия

27 сентября 1991. Берлин.

Оказываюсь в Берлине проездом из Швеции. Встречает Мирьям Бек. Перед посадкой на поезд Берлин–Москва ведет меня в магазин, чтобы мне привезти в Москву как можно больше еды. Нахватываю огромное количество разных упаковочек, пакетиков, баночек, пластиковых корытец. Мирьям смотрит на эту гору и хочет что-то сказать, но колеблется. Потом все-таки решается: «Мне кажется, вот это, это и это надо бы сменить». — «А в чем дело?» — «Видишь ли, ты, наверно, не смотрел на этикетки; а это все «легкое» (leicht). У нас ведь теперь почти все покупают leicht. А в Москву, я думаю, все-таки лучше жирное...»

1992

Германия

Февраль 1992. Констанц.

Огромный плакат на стене здания: Die schönsten (самые красивые) — остального не видно: заслоняют стоящие люди. Подхожу поближе: захотелось посмотреть, какие красотки считаются die schönsten в Швабии. Тут люди отходят, и я вижу продолжение: %!

Швеция

Август 1992. Кунгэльв (под Гётеборгом).

Так называемая «школа» под названием «История русского языка в новом освещении»: происходят полудоклады-полууроки. Например, Стенсланд разъясняет систему древнерусских акцентных и иных надстрочных знаков. Я знакомлю публику с берестяными грамотами — разумеется, с самыми развлекательными, вроде № 43: ... да пришли сороцицю, сороцицѣ забыле (да пришли рубашку — рубашку забыл). С живостью слушают рассказ о грамоте № 607/562, которая составила из двух кусков, найденных с интервалом в пять лет: **жизнобоуде погоублене оу сычевиць новгородське смьрде** (Сычевичами погублен Жизнобуд, новгородский смерд).

По вечерам бывают различные номера сверх программы. Так, 24-го публике предстоит развлечение из категории боя быков — мой диспут с Бьёрнфлатеном о том, была ли в Новгороде вторая палатализация. К сожалению, мое самочувствие все время не из лучших, приступы случаются уже довольно часто.

Мрачно думаю о том, что может приключиться у доски во время такого стрессового занятия, как словесное сражение. Сказал даже Свену Густафсону, что хорошо бы отменить бой. «Ну что вы! — говорит он, — как же можно? Публика так предвкушает!»

Первым говорит Бьёрнфлатен (по-английски); он огромен, медведист и совершенно роскошен. Говорит хорошо, ярко, в тональности *fugioso*. Я дергаюсь при наиболее острых поворотах, и довольно скоро начался таки приступ стенокардии. Полез за нитроглицерином, стараясь, чтобы было незаметно для окружающих; вроде бы помогло. К счастью, Бьёрнфлатен говорил еще довольно долго, так что к моменту, когда пришла моя очередь идти к доске, я уже успел более или менее прийти в себя. По ходу собственной речи постепенно увлекся и как-то забыл про риск. В какой-то момент перешел с английского языка на русский. Спектаклем публика, как потом говорили, осталась довольна.

Вечером Бьёрнфлатен уже уехал. Назавтра, в последний день «школы», была устроена так называемая «вечеринка». Среди обычных в таких случаях развлечений вдруг вошел Петер Альберг Йенсен и взволнованным голосом объявил, что произошло исключительное событие: найдена шведская берестяная грамота. Она по какой-то причине написана по-древнерусски. Он торжественно ее прочел:

поклоне ѿ потра ко
 лаврентию • болотовьна
 оутихла • михькопоске
 оугоублене оу железьнака
 партигане варажьске •
 присоли еше съмагъчениа
 и акъуатъ • акъуата потераль

В авторе и адресате публика быстро распознала людей с одинаковыми в конечном счете фамилиями Йенсен и Янин. Один за другим заулыбались и те, которые вспомнили, что их скандинавский björn — у русских медведь.

Что же касается просьбы прислать смягчений (мягких знаков) и акцентов, то участников только что закончившейся страды древнерусских штудий этим уже не удивишь.

Ну а преподавателя древненовгородского диалекта, конечно, ничто так не может восхитить, как партигане варажське.

Швейцария

20 октября 1992. Женева.

Зная, что мне предстоит кардиологическое обследование и, возможно, операция, позвонила Улла Биргегорд: «Проходите все обследования, а о деньгах не волнуйтесь». Какое облегчение принес этот звонок!

23-го первое занятие. Сима Маркиш представляет меня студентам роскошными словами. Лекция далась нелегко; но кончилось благополучно, только свалила с ног страшная усталость.

30-го позвонил Лефельдт, предложил денег.

2 ноября 1992, понедельник. Идем пешком в Hôpital Cantonal. Палата на 7 человек; все заполнено. Сестра-испанка, обращается приятно. Дали брошюру, чтобы знал все подробности предстоящей процедуры — ангиографии (иначе коронарографии). «Вероятность успешного исхода 95%».

Утром во вторник повезли: «Самому идти запрещено». В операционной как в кино: огромные округлые геометрические тела с гигантскими окулярами-глазами ездят вокруг тебя во всех направлениях. Проводят операцию молодой парень и две молодых помощницы, одна — итальянка. Мастерски заговаривают зубы: «Как у вас с языками? Чем сейчас занимаетесь?» Все время предупреждают, когда будет слегка неприятно. Прошло легко. Уходят за ширму, смотрят снятое аппаратами «кино». Минут через пятнадцать уже объявляют мне резолюцию: дилатации (баллонажа) не будет — повреждены три артерии, необходима операция. Так что облегчение от того, что процедура позади, длилось недолго. «А когда нужно делать операцию?» — «Как можно быстрее, в ближайшие дни — прямо у нас, никуда от нас не уходя».

Но когда выяснилось, что у меня нет страховки и нет денег на операцию, тон сразу изменился. Лена дозвонилась до Уллы, та обещает все организовать в Швеции в течение 20 дней. В среду утром выпустили из больницы — как-то несколько торопливо, без врачебных инструкций и напутствий. (Как нам потом объяснили, они вздохнули с огромным облегчением, освободившись от немыслимого пациента без страховки.) Вечером звонок Уллы: хирург готов назначить меня на 25 ноября; факс о визе выслан.

Радио: Клинтон избран президентом.

6 ноября. Лена ходила в шведское консульство по поводу визы. Но они пересылают все бумаги в Берн, в посольство.

9 ноября. Пришел тревожный вызов из полиции «на медицинский контроль» — повторный, потому что общий медицинский контроль я уже прошел.

10 ноября. Звоним в Берн в шведское посольство. Ответ ужасен: «Мы сперва должны запросить your authorities». Ничего более катастрофического представить себе невозможно: это гарантированный провал всего плана и смерть в течение нескольких месяцев, которую мне очень прозрачно обещали в женевском госпитале, если не сделать операцию.

Послали отчаянный факс Улле. Вечером звонок Уллы: она надеется, что это всего лишь ошибка в местоимении и надо понимать это как «our authorities», т. е. что наши анкеты будут высланы в Стокгольм.

11 ноября. Звонок Уллы: «Ваши анкеты в Стокгольме. И Свену, кажется, удалось убедить шведский МИД, что вы не останетесь в Швеции».

Пришло письмо от Лефельдта с еврочеком.

12 ноября. Лена получила в шведском консульстве в Женеве шведские визы.

(И лишь много позже я узнал, какую трудную задачу решил Свен Густафсон, чтобы мы столь молниеносно получили свои визы. Он сам поехал в стокгольмский МИД. Но во всех кабинетах наткнулся на чиновничий тупик; и никак нельзя было узнать, к кому в действительности с таким делом надо обращаться. Тогда он догадался позвонить в Москву своему другу Ларсу Клебергу, тогдашнему культурному атташе в Москве. И тот открыл ему некий заветный номер телефона внутри МИДа. А тот, кто знает этот номер, уже получает просимое.)

16 ноября. Самочувствие отвратительное; однако надо идти на медицинский контроль по полицейскому вызову. Приходим. «Вам в антитуберкулезный центр».

Составляют на меня карточку: «Мы вызвали вас в связи с результатами вашей флюорографии». Час от часу не легче! Только этого еще недоставало! Если что-то в легких, то операция на сердце может оказаться невозможной, она прямо зависит от легких.

Делают новый снимок, иду с ним к врачу. Но врач куда-то ушел. Кошмарный час сидения перед его дверью. Наконец врач появляется, смотрит снимок: «Как будто бы все нормально». После паузы: «Ах нет, вот в этом углу что-то есть!» Еще пауза: «Посмотрим еще. Нет, ничего нет, это ошибка. Можете идти домой». Неслыханное облегчение: теперь осталась всего лишь операция на сердце!

17 ноября. Жорж Нива диктует мне письмо, которое я должен написать декану с просьбой об отпуске на 15 дней. «А как же после 15 дней? Ведь реально операция выводит человека из строя никак не меньше, чем на полтора месяца!» — «Мы подумаем, — говорит бесстрастный Нива, — пока пиши так».

Поступило сведение из банка: деньги по еврочечку Лефельдта можно получить только через шесть дней (а у нас поезд 21-го).

Лена занимается доставанием немецких и датских транзитных виз.

Все дни после больницы занятия продолжают, хотя даются нелегко; почти на каждом промелькивает мысль: ну, чем сегодня занятие кончится?

18 ноября. Объявил студентам о своем предстоящем отсутствии.

20 ноября. Последняя лекция перед отъездом (об изменениях по аналогии). В конце лекции встает деви-

ца и от имени русской группы дарит мне коробку чего-то кондитерского и большую открытку с видом Женевы и пожеланием скорого возвращения; на ней 17 подписей.

Это было приятно и трогательно. Но подлинного значения происходящего я тогда, конечно, еще совершенно не понимал. Я узнал о нем лишь много позже. Мне объяснили, что по швейцарским законам тот, у кого нет трех месяцев стажа, не имеет права пропустить более 15 дней по болезни. Декан мне сочувствовал и помогал, как мог. Но он был бы бессилён при малейшей жалобе со стороны хоть одного студента на то, что не состоялась такая-то лекция. В этом случае вся мощь швейцарского закона неумолимо заставила бы декана немедленно меня уволить. И студенты это свое могущество знают. Это значит, что я получил от них не открытку, а охранную грамоту: 17 подписями они показали мне, что мне не нужно опасаться никакой беды с их стороны!

«Ты ничего не понимаешь! — втолковывал мне потом Маркиш, — ты небось думаешь, что так и надо. Но это же Женева! Они же здесь никогда ничего подобного не делали!».

Так что после 15 дней разрешенного отпуска мне предстояло самовольно пропустить несколько занятий, пользуясь доброжелательством студентов, а дальше на мое счастье шли новогодние каникулы.

Швеция

21 ноября 1992 отъезд из Женевы. Германия, Дания, паром в Швецию. В пути приступы становятся все чаще. 22-го Стокгольм, встречает Йенсен. Потом Упсала, встречает Улла.

24-го в больницу. Упсальская больница оказывается целым городом внутри города, со своими улицами, площадями, вертолетными площадками на крышах корпусов. Главный хирург кардиологического отделения Ханс-Эрик Ханссон: «Your case is ordinary, операция будет 26-го». Желтоволосяя валькирия Ульрика, лет девятнадцати, похлопывает меня по плечу и хохочет: «Вот душ, а вымыться поможем!» Напротив койка флорентинца, который теперь живет в Швеции.

Осмотры у врачей. Один из них весело мне говорит: «Ну что же, я вижу, вы здоровый человек, который нуждается только в четырех-пяти шунтах (bypasses) на сердце». Вручают мне толстенный фотоальбом: «Вы должны познакомиться со всеми деталями предстоящей вам операции». Раскрываю наугад — и сразу становится ясно: если я изучу этот альбом, то до операции могу и не дожить. Прошу разрешения изучать альбом не в кабинете, а на диванчике в коридоре. Там переворачиваю его кверху ногами и листаю. В таком виде фотографии уже нестрашные — а все видят, что я свое отрабатываю. Впрочем, один разворот все же заклеен — я думаю, заклеили после того, как кого-нибудь после именно этой картинки увезли в реанимацию.

Потом, когда операция была уже далеко позади, я таки посмотрел этот альбом — и понял, сколь предусмотрительно поступил вначале. Самой душераздирающей оказалась, между прочим, не фотография

развороченной грудной клетки, а сцена, где над совершенно целым еще пациентом навис врач в синей робе, как у ремонтных рабочих на мостовой, с чем-то вроде огромного отбойного молотка, которым он, держа его двумя руками, распиливает пациенту грудину.

(Сергей Юрский позднее в гостях у Маркиша рассказывал: Евстигнеев 1 марта 1992 года еще играл в Москве спектакль. 2 марта он уже был в Лондоне — приехал на операцию шунтирования. Деньги ему выделило министерство. 4 марта врач стал объяснять ему, как будет делаться операция — все детали. Сразу после беседы начался приступ, далее кома, и ничего больница уже не смогла сделать.)

25 ноября. Флорентинца утром увезли на операцию. Моя очередь завтра. Настроение весь день странно легкое, какое-то бесстрастное, туповатое. Написал длинное письмо Гелескулу; писал с большим удовольствием.

Потом меня не раз спрашивали: не страшен ли был день перед операцией? Но как раз в этом смысле мне очень повезло: все предшествующие недели страх был только в том, что операция по той или по другой причине сорвется. А причины эти появлялись одна за другой: швейцарские законы, отсутствие денег, туберкулезный контроль, советская власть, визы трех стран... Какой после этого еще мог остаться страх перед операцией, когда это была такая немыслимая удача — пробиться сквозь все эти препоны!

Анализы, души, бритье груди и ног. Два душа подряд так подкосили, что заснул раньше, чем принесли снотворное. Утром нашел эти снотворные таблетки на тумбочке.

26 ноября, четверг. Разбудили в 6 часов. Состояние бездумное. «А теперь мы вам вколем морфина для спокойствия». Лежу — вроде не берет. А потом сразу какой-то подвал. Рядом Лена стоит. Спрашиваю: «Is the operation over?» Говорят: да. Лена переводит кого-то из врачей: «Углекислый газ делает его усталым». Говорю: «This is not very beautiful Russian».

Надо мной стоит врачиха-полька Эва, дает мне команды по-польски. «Он же русский — должен понимать по-польски!» Язык не ворочается. Лена рассказывала, что изо всех мест торчали трубки и что я страшным образом оскалился — она сперва испугалась, а потом поняла, что это была по замыслу улыбка: дескать, вот как всё замечательно.

28 ноября. Статус тяжелого больного, которому все разрешено, у меня отнимают — заставили побриться, а вскоре после этого заставили ходить! Перевели в палату на двоих, сосед — Нильс Андерссон. По-английски говорит неохотно, предпочитает по-шведски.

29 ноября, воскресенье. Advent (4-е воскресенье перед Рождеством). В честь этого во всех окнах города горки свеч (электрических), в нашей палате тоже; а вечером салют.

Замечательны сестры — одна милее другой. Похоже, что их профессиональная подготовка только в-третьих состоит в том, чтобы делать уколы и мерить давление, а во-первых и во-вторых в том, чтобы веселить больных, улыбаться им, подшучивать над ними и никогда не вступать с ними в пререкания. И результат очевиден: в палатах и в коридорах настроение дома отдыха, а не больницы.

Потом увидел в коридоре плакатик: Vi är bra i eftervård (мы молодцы в послеоперационном уходе) и совершенно с этим согласился. Но, конечно, главный секрет у них в арифметике: на одного больного в этой больнице приходится два человека персонала — врачей и сестер.

В больнице нет никаких фамилий — решительно всех зовут только по именам (и, разумеется, на ты). *Андрэй* — кричат все сестры, нянечки и врачи. И на руке у пациентов бирка с именем, как у новорожденного — чтобы узнать, когда без сознания или когда просто спишь.

30 ноября. Зашел Ханс-Эрик — на сорок секунд — как крыло божества. В нем какая-то мистика великого врача. Таинственный, как древний волшебник; тишайший голос. Внушает абсолютное, беспредельное доверие.

Нильс уже полностью перешел на шведский. Но старается быть педагогичным: выговаривает все слова медленно (что, впрочем, ему и без того совершенно естественно) и произносит все непронизносимые буквы — как написано. С такой же скоростью порождая свой ответ и я. Нильса такой ритм беседы вполне устраивает. И спешить нам совершенно некуда.

Складывается неторопливый солидный мужской разговор. О банальном — здоровье, семья, дети и т. п. — никакой речи. Обсуждаем только существенное: раскопки в Бирке, [buris eltšin], неродственность румынского и болгарского языков, что значит «наука доказала, что...». Наконец Нильс задает вопрос, который, видимо, особенно его трогает: «Как ты думаешь, Андрей, vad är sanning? (что есть истина?)». И

ведь Нильс не крал этого вопроса у Пилата (он настроен антицерковно и просто не знает о Пилате). Каждый из них двоих своим путем пришел к осознанию этой проблемы.

1 декабря 1992. Позвонил Мельчук. Рассказал ему, как сестра (про которую Нильс говорит: sköna flicka ‘красивая девочка’ — в разговорном произношении примерно [huöna]) считает мне пульс и говорит: sjutti sju ‘77’ [huitti hui]. Он остался доволен.

Перед ночью Нильс нажимает на кнопку вызова сестры. «Ты должна принести мне виски, — говорит он появившейся сестре, — потому что я завтра выпиываюсь». — «Как? Я ничего такого не знаю», — говорит сестра. — «Du är ännu ung (ты еще молодая), — отвечает Нильс, — пойди к старшей сестре, и она тебе объяснит. Я здесь не первый раз и знаю, что в этой больнице есть старый обычай — угощать отъезжающего стаканчиком виски». Как и положено сестре, ни слова возражения, улыбнулась и пошла. Через короткое время возвращается с подносиком, на нем два пластмассовых стаканчика. Один протягивает Нильсу, другой мне. Я говорю: «Но я же еще не уезжаю!» — «Но ты же не хочешь, — отвечает, — чтобы твой друг пил один!» Спрашивать, разрешает ли мне это врач, я уже не стал.

3 декабря, четверг. Разговор с Ханс-Эриком: «Вы, наверно, знаете, что Русский Институт (это значит, Свен Густафсон) уже оплатил ваш счет. Мы должны вас выписать в пятницу. Но вы можете остаться у нас до понедельника — наше отделение дарит вам эти три дня».

(Я не знал тогда, что мой счет был вдвое меньше обычного: Ханс-Эрик по дружбе с Уллой отказался от своего гонорара за мою операцию. Не знал и того, что Густафсон организовал сбор денег на эту операцию среди лингвистов разных стран и что откликнулось более тридцати человек. И даже когда мне об этом в общих словах сказали, Густафсон не хотел мне показывать их список. Я говорил ему: «Но ведь я мог бы по крайней мере их поблагодарить». — «Нет, — отвечал он, — они присылали эти деньги мне, а не вам, я и буду их благодарить».)

6 декабря, воскресенье. Увидел, наконец, своего флорентинца, которого много дней искал глазами и не находил. Оказалось, что у него прошло не так гладко, как у меня — все это время провел в реанимации; ходит пока еще только с помощью стойки.

Весь день составляю в уме шведские фразы, к вечеру набираюсь духу и ловлю в столовой знакомую сестру Терезу: «Ты должна принести мне виски, потому что я завтра выписываюсь». — «Почему?» — спрашивает Тереза. И тут я набираю воздуха и торжественно возглашаю: «Du är ännu ung. И ты не знаешь: в этой больнице есть старый обычай — угощать отъезжающего стаканчиком виски. Пойди к старшей сестре, и она тебе объяснит». Акция полностью удалась: вскоре Тереза приносит в мою новую палату (четырёхместную) четыре стаканчика виски — мне и трем моим соседям. Так что если этот старый обычай в Упсальской больнице не умрет, то в этом будет немало и моей заслуги.

Декабрь. Упсала.

Солнце появляется над краем дальнего леса часов в одиннадцать, еле-еле приподнимается над вершинами деревьев и часа в три уже прячется снова. За это время я обязан проделать свою ежедневную прогулку — таков жестко предписанный послебольничный режим. До края города совсем недалеко, и я быстро оказываюсь в лесу. Седой зимний скандинавский лес суров. Он наполовину из деревьев, наполовину из огромных камней. И совершенно очевидно, что, едва только спрячется слабенькое солнышко, из-за этих мшистых камней вылезут тролли.

Самая привычная из моих трасс — тропа Линнея. Он проходил ее чуть ли не ежедневно, и потомки аккуратно сохранили и разместили все повороты его прогулок. Вдобавок это еще и гарантия от того, чтобы заблудиться.

Редко кто встретится в шведском лесу, хотя тропок много. И очень заметно, насколько скандинавские женщины решительнее, свободнее и общительнее нынешних скандинавских мужчин. Они при встрече в лесу обычно спокойно здороваются. А потомков викингов практически всех поголовно при встрече охватывает страстное желание стать невидимыми, не просто уткнуться взглядом в землю, а прямо провалиться сквозь нее.

1993

Швейцария

24 февраля 1993. Женева.

Вечером доклад знаменитого Стейнера об этике в языке. Зал ломится. Очень много блеска, уследить за мыслью практически невозможно; и все же хэппенинг небезынтересный. «Язык так омертвел и утонул в политике/политиканстве, что лучше молчать — сравни у Витгенштейна». *Об этом* рассказано с выдающимся красноречием.

17 марта. Мы с de Preux принимаем экзамен по древнерусскому и старославянскому. Среди прочих сдает Луи де Соссюр, дальний потомок Фердинанда. У него репутация шалопая, постоянно какие-то академические хвосты. Но этот экзамен, вопреки всякому ожиданию, он сдает великолепно. В Швейцарии при их шестибалльной системе почти никогда не ставят шесть — какие-нибудь четверть балла обычно все-таки вычтут. Но в данном случае de Preux со мной согласен: ставим полные шесть.

Каково же было мое удивление, когда через некоторое время я узнаю, что Луи де Соссюр исключен за неуспеваемость: остальные экзамены сдал так, что не вытянул минимально допустимого среднего балла.

А еще примерно через год случайно встречаю этого выброшенного на улицу неудачника в городе. Цветущий, жовиальный, при виде меня озаряется приветственной улыбкой. «Ну, как ваши дела?» — спрашивает он меня.

Италия

21 марта 1993.

Первый раз проделываю на поезде путь Женева–Венеция, который потом мне предстояло проезжать неоднократно. Самая прекрасная часть дороги — сразу после симплонского туннеля. Поезд вылетает на свет — и это уже Италия: селеньице Iselle. Природа одним броском продвинулась ближе к лету месяца на полтора: все кругом буйно цветет желтым, белым и фиолетовым. И вот уже открывается завораживающей красоты Лаго Маджоре. Поезд идет прямо над краем озера.

Вплывающие в поле зрения как в кино синие с белым названия станций действуют почти гипнотически: Вербания, Палланца, Стреза, Арона... Вспыхивает: Стреза! — это же Хемингуэй, «Farewell to arms», наша студенческая юность... А слово Палланца окрашено для меня ореолом чего-то прекрасного и недосягнутого из-за эпизода тех же времен. В 1957 году, когда я был в гостях у Анри Гросса в Сен-Рафаэле, Анри и его родители собрались съездить на машине в Италию. Итальянец, друг Анри, уже давно работавший безвыездно во Франции, очень воодушевился: «Я поеду с вами — вы довезете меня до Палланцы, я не видал своей родной Палланцы уже лет десять!» Поговорили о том, не взять ли с собой также и меня, но благоразумно этим и ограничились. А вечером того же дня они уже вернулись. На перевале итальянские пограничники перекрыли итальянцу дорогу в его Палланцу: его итальянские документы безнадежно устарели, из них вытекало, что он десять лет не платил итальянских налогов. «Французы пожа-

луйста, а вас в Италию не впустим». Из солидарности отказались от своих планов и французы.

Показались знаменитые Isole Borromee: Isola dei Pescatori, Isola Bella, чуть в отдалении — Isola Madre. Железная дорога проходит высоко над водой, так что озеро и острова видно почти сверху. Игрушечные дома на островках растут прямо из озера. Неправдоподобно красиво — сколько ни слушай о том, что всё это туристское и слишком сладкое.

Еще несколько часов, и вот уже Венеция. Все выглядит здесь очень неожиданно: над Canal Grande стоит туман, солнце как луна, гондольеры и гондолы — черными контурами, изысканнейше!

30 марта. Венеция.

Сцена посреди Piazza: laureata (т. е. только что получившая университетский диплом) — красивая высокая девица классического типа; на голове огромный венок, перевитый желтой лентой. С ней дама, скорее всего мать, которая кричит на всю площадь: «Dottore! Dottore!» (= вот чем стала ее дочь). В руках у laureat'ы изящная желтая кепочка; в нее синьоры (не туристы!) кидают деньги («per la fortuna») и целуют ее в обе щеки.

Апрель 1993. Удине.

Едва ли не главное удовольствие моей здешней жизни — велосипед. Выезжаю за город всякий раз, когда позволяет погода и университетские занятия.

5-го доехал до Reana del Roiale. Погода божественная: солнце, легкий ветерок. На полгоризонта горы — видны так, что кажется, до них еще полчаса и доедешь. Поля, тишина, раннее лето.

8-го доехал даже до Чивидале. Туда узенькими деревенскими дорогами, через Поволетто и Торреано, так что получилось километров двадцать. Горы туманны, но становятся всё ближе и четче — пока, наконец, не подъехал прямо к первым холмам. Цветы, цветы, сельская Италия! И всё это своими ногами! Не хуже, чем переход из Тиррении в Марина ди Пиза. В Чивидале поехал по городу; рискнул оставить велосипед, пока зашел в замечательный Tempietto longobardo (VIII века). На обратном пути начался дождичек, пришлось ехать магистралью; это 17 км, но с чудовищными мастодонтами-грузовичищами, которые обгоняют тебя на страшной скорости. Но даже и это оказалось приятно.

9-го съездил в Тричезимо. Полевые дороги, солнце, ветерок, прохладно. Удивительно нежные итальянские деревенские пейзажи, со слабо виднеющимися горами вдали. Черепично-красные пологие крыши с огромными карнизами; охряные, белые или серые стены; пинии, кипарисы, еще спящие виноградники.

Племянница синьоры Анджелины, нашей соседки, никогда не была в Риме (сама Анджелина явно тоже), только в Пизе и Флоренции, когда училась в школе. Муж — железнодорожник, имеет право на giro del mondo (кругосветное путешествие) бесплатно. Но говорит: «Неужели я и в отпуск поеду на поезде? Поезжай одна». Так что не поедет никогда.

Рассказ Джорджо Циффера: В Сицилии мать с двумя детьми. Как их зовут? — Didone e Enea. — Неужели? — Да, именно так: мальчик Didone, девочка Enea.

Швейцария

15 октября 1993. Женева.

Сажу на Collège des professeurs. Человек 50 четыре часа подряд обсуждают сплошь административные и денежные вопросы. Тяжкое борение старенького Прието с молодыми волками-хомскианцами.

За распахнутым окном теплый вечерний дождь. Он гипнотизирует. Смотрю — и охватывает чувство совершенной ирреальности окружающего. Где я? Что за фарс — что я считаюсь как бы членом этого! Трудно передать, до какой степени мне всё это чуждо! Видимо, это какая-то игра. Так не заигрался ли я?

29 октября. Вечером звонок Нива: умер Лотман.

1 ноября. В газетах заголовки: умер Феллини.

24 ноября и далее. Аверинцев проводит этот семестр в Женеве. Читает курс по русской духовности (по-французски) в так наз. Европейском Институте. Слушателей, к сожалению, совсем мало, и они как-то не особенно внушают веру в то, что эта премудрость в них вместится. Вот некоторые запомнившиеся тезисы.

Старославянский не может передать всего богатства греческого. Русская духовность до XIX века невежественна (Possevino: «summa ignorantia omnium rerum»), ее сила в ином — в иконописи. А в XIX веке сила перемещается в литературу.

Жорж Нива на этих лекциях исполняет свою роль приглашающего «хозяина»; в то же время постоянно подпускает шпильки и подсмеивается над Аверинцевым. Но Аверинцев серьезен и его игры не принимает (может быть, даже не замечает).

Вспоминаю свой очень давний разговор с Аверинцевым (других серьезных разговоров у меня с ним, пожалуй, и не было). Его слова произвели на меня тогда очень сильное впечатление — своей ясностью и бесстрашной прямоотой. Аверинцев сказал: «Область, к которой относятся мои занятия, — не наука и не искусство; но она не менее интересна для человека, чем наука и искусство. Человечество, однако, не выработало для нее отдельного имени, и за неимением такового ее относят к науке. Она сродни, ну, скажем, умному застольному разговору».

Женевские лекции были, на мой вкус, чуть ближе к застольному разговору, чем мне хотелось бы. Правда, я был только на первых трех.

30 ноября. В телевизоре: последнее интервью Феллини (названо: *Fellini ou l'amour de la vie*), прекрасное. «Ведь когда мы снимали *Dolce vita*, в Риме на самом деле ничего подобного не было! Стало потом — из подражания фильму».

6 декабря 1993. На так называемом «Русском кружке» выступает Юрий Афанасьев. В аудитории за спиной Афанасьева не стерто с доски — какие-то матрицы и западный профессорский юмор, без которого, видимо, сейчас уже нельзя надеяться на контакт со студентами: *Ne pas confondre le tennis en pension avec le pénis en tension.*

По Афанасьеву, Октябрьская революция была не началом новой эры человечества, а *de facto* победой реакционного крестьянства над недавно возникшим капитализмом, т. е. реставрацией (с идеей уравнительности). Большевизм этим настроен воспользовался, но затем сам был им поглощен.

Предрекает теперь ряд лет авторитарного правления в пользу трех реакционных сил: ВПК, колхозного крестьянства и 20-миллионного чиновничества.

По рассказу Нива, потом на встрече с женеvским ректором Афанасьев активно рекламировал РГГУ; в частности, сказал: «Украшение РГГУ — Мелетинский, Зализняк и Аверинцев». — «Две трети у нас!» — в восторге закричал Нива (Афанасьев, конечно, говорил понаслышке, ничего точно не зная). Ректор был очень доволен.

1994

12 февраля 1994, суббота. Женева.

Ко мне в гости на четыре дня приехали Анята с Борей. Гуляем вдоль Арвы. Во вторник выпал прекрасный свежий снег. Надумали сделать снежную бабу во дворе около театра. Получилась отличная. Нашли даже морковку для носа. Подзамерзли, пошли домой одеться получше. Операция эта заняла минут 15–20. Возвращаемся к своему творению. К счастью, я шел немного впереди и первым вошел во двор. И увидел: от нашей роскошной бабы нет и следа, трудно даже понять, где именно она стояла. Швейцарская эстетика, видимо, пришла от этого дикарства в такое потрясение, что его нельзя было выдержать и пятнадцать минут. Место было заровнено лопатой или метлой (лишь морковку я позднее все-таки откопал). Партия швейцарских ксенофобов, надо думать, получила в этот день дюжину новых верных адептов.

Бросился навстречу Аняте с Борей, чтобы загородить им путь. С большим трудом удалось убедить Борю, что сейчас надо немедленно идти не к снежной бабе, а к реке.

Италия

29 марта 1994. Рим.

Вечер. Большая группа испанских девиц (старших школьниц) расположилась не где-нибудь, а на piazza di Spagna. Вокруг них увивается множество местных итальянских кавалеров. И что же? я слышу, что раз-

говоры между девицами и кавалерами происходят по-английски!

1 апреля 1994. Рим.

Venerdì santo (страстная пятница). Вечером Via Crucis с папой напротив Колизея. Море людей (по каким-то оценкам, сто тысяч). Все освещено. Фантастичны голуби в воздухе, подсвеченные снизу. Подсвеченная пиния между сияющей аркой Константина и серебристым Колизеем реет в небе. Via Crucis делится на 14 «остановок» (stazioni). Из репродукторов итальянский текст, очень четкий, и музыка. Название каждой stazione объявляется на 9 языках; далее следует Pater noster по-латыни. Большинство стоящих повторяет его. Множество монахинь (часто африканских, азиатских, польских) и молодых людей. Масса иностранцев. В конце процессии папа поднимается на стену Palatino. Стоит на фоне огненного креста на остатке стены бывшего храма Венеры и Рима; за ним кардиналы и проч.

Всё заканчивается речью папы — по-итальянски, с легким акцентом и небольшими огрехами вроде Sibiria вместо Siberia. Говорит мощно, звучно, не старчески. Говорит очень понятно; смысл — призыв к единению христиан Запада и Востока. Еще до конца речи папы публика начала немного расходиться — явно жест, означающий: политики нам не надо! Когда папа кончил, — о ужас! — раздались аплодисменты.

Ночь тепло-прохладная, но ветер. На папе ветер развеивает красно-белые одежды, в руках у него большой крест. А рядом переливается, трепещет на ветру большой куст, весь из фиолетовых цветов — оба на фоне черного неба, метрах в 15–20 над толпой.

Комментарии (из репродукторов) к евангельскому рассказу ясные, краткие, сильные, проникают душу. Языкового барьера как бы нет: слова попадают прямо в нутро, особенно когда оно тревожное и ищущее опоры.

3 апреля. Пасха. Едем с Клаудией Ласорсой и ее дочерью Джованной в Росса ди Пара в загородный дом Клаудии. Дом лепится к крутому склону горы. Прогулка по лесу вверх по горе. Выходим на дорогу из больших базальтовых плит. Идти по ней достаточно удобно; но некоторые плиты лежат неровно, некоторые заметно провалились. «Что это за странная дорога? — спрашиваю я, — почему она в таком запущенном состоянии?» — «А это просто дорога римского времени, — отвечает Клаудия, — по ней римские легионы восходили торжественной процессией к храму Юпитера — покровителя Лациума (Juppiter Latialis) на вершине вулкана Monte Cavo».

Выходим на опушку, и открывается изумительный вид. На западе вдоль всего горизонта — берег моря; оно километрах в 35–40. Под нами два изумительных озера. Большое — Альбано, с резиденцией пап Castel Gandolfo на берегу. Малое — знаменитое озеро Неми. Оно почти идеально круглое и со всех сторон окружено могучим лесом. Этот лес и есть роща Дианы (nemus Dianae), описанная в «Золотой ветви» Фрейзера. Смотрю сверху на эти два почти идеальных круга — круг воды и кольцо темного леса — и непосредственно ощущаю, насколько очевидной была священность того и другого.

4 апреля, понедельник после пасхи (Pasquetta). Собирался ехать к Анюте (так называет эту почтенную даму

вся Италия) Мавер Ло Гатто (она сама предложила, сказала лишь, что надо позвонить). Но ее телефон почему-то не отвечает, и судьба ведет иначе. Сажусь в самый воровской автобус Рима — № 64 (Termini–San Pietro), — чтобы попасть в Palazzo Venezia на выставку «Норманны». В автобусе тесно и беспокойно. На стенах яркие объявления «Берегитесь автобусных воров» и подробные пояснения, какие нужно принимать меры.

(Потом мне объяснили, что воры были очень довольны, когда появились эти объявления: теперь им достаточно стоять около такого объявления и смотреть, кто из подошедших к нему немедленно начинает хлопать себя по карманам.)

Но вот наконец автобус подходит к piazza Venezia, и я с облегчением схожу, хлопая себя по карманам и убеждаясь, что содержимое цело. Молодец! с проблемой воровства справился!

Перед Palazzo Venezia огромная очередь на улице, толщиной человек в шесть, тесная до крайности, особенно там, где она уже заключена между двумя длинными барьерами. Поражает изобилие простецких физиономий. Никогда бы раньше не подумал, что люди с такими лицами могут терпеливо выстаивать очередь на какую-то выставку. Где еще может быть такая невероятная тяга к культуре?

Наконец оказываюсь внутри здания. Подъем по лестнице и вот уже касса. Лезу за деньгами — бумажника в кармане нет! А это был внутренний карман пиджака (нагрудный), который я, кроме того, в тревожных условиях автобуса № 64 еще и застегнул на пуговицу. Работа, разумеется, была мастерская — впрочем, условия для нее в очереди были идеальные.

Обшариваю, конечно, все карманы, хотя в действительности прекрасно знаю, где именно был бумажник. В бумажнике: паспорт, швейцарский вид на жительство, купленный три дня назад билет до Москвы, билет до Флоренции, толстая пачка долларов и все до единой имеющиеся у меня лиры. С деньгами страшно повезло: это были все-таки не все деньги, а часть. Ведь степень идиотизма человека, который все это носил на себе, была настолько полной, что мог и все деньги носить там же. Более того — неделю назад именно так и носил! потом разложил по каким-то случайным соображениям. А учить мужчин, имеющих высокое мнение о своей сообразительности, на примерах того, что случалось с другими, — как известно, дело пустое: то ведь другие. Римские воры здесь единственные учителя, имеющие шансы на дидактический успех.

Дальнейшее происходило с кинематографической скоростью: ведь я послезавтра уже должен был уезжать из Рима. И чуть ли не с каждым следующим делом оказывалось так, что на полчаса позже — и все провалилось бы.

Первая же задача, без которой никакая другая не решается, — добыть итальянских денег — оказалась совсем не простой. Все оставшиеся у меня деньги были в долларах; а чтобы их обменять, нужен паспорт или иное удостоверение личности. И при этом день — Pasquetta: все закрыто. И вот все-таки я нашел такого менялу, который не закрыл свою лавочку и который поверил (или сделал вид, что поверил) моему пламенному рассказу о том, как у меня только что всё украли, — обменял без паспорта.

Бросился искать полицейское отделение — подавать заявление (*denuncia*): как мне объяснили, без

бумаги из полиции ни один дальнейший ход невозможен. Нашел. «Э, — говорят, — это вам нужно в квестуру, *via Genova*». Нашел и *via Genova*. Полный зал таких же, как я, — специальный зал для обокраденных иностранцев. Целых четыре полицейских чина безостановочно принимают заявления обокраденных. Но перед этим нужно подробно письменно изложить обстоятельства дела и пойти в очередь к другим чиновникам — лингвистическим. Но если можешь по-итальянски, то вдвое быстрее — прямо к полицейским. Спортивная филологическая задача настолько меня увлекла, что забыл свое горе. С гордостью приношу свое сочинение полицейскому и получаю заслуженную награду — тот расплывается в улыбке: «Ах, вы прекрасно пишете по-итальянски!»; и не интересуется более ничем, кроме моих лексических и стилистических достижений. Беседуем как лучшие друзья. О таких несерьезных вещах, как найти мои документы, уже разговора нет. Зато полицейская бумага о том, что я «украинец» (как некогда написали Гелескулу, у которого украли паспорт), выправляется по высшему разряду и без малейшей задержки.

Бросаюсь на вокзал Termini — фотографироваться в автомате для получения дальнейших бумаг. Не тут-то было: нет подходящей купюры и никто не желает разменивать. Нашел наконец какого-то полунищего старика, который смилостивился надо мной. Но его бумажки оказались такими жеваными, что автомат их выплевывает. Стал их лощить, с десятой попытки удалось обмануть автомат.

Теперь в российское консульство на *via Nomentana*. Роскошное палаццо в роскошном саду. На звонки никто не отвечает. С тысячного раза вылезает сонная

морда сторожа. Видимо, был во мне в тот момент какой-то запал безумия — убедил пропустить. А дальше уже просто неправдоподобное везение: попал на человека, а не на казенную тумбу! Вице-консул Виктор Борисович, вальяжный дипломат, пожурил за неблюдение документа, но распорядился-таки заполнить на мое имя бланк под названием «Свидетельство для возвращения в Российскую Федерацию».

Теперь снова на вокзал: заявить о краже билета. — «Заявление принимаем, но билет не восстанавливаем. Помочь вам можем только тем, что арестуем того, кто придет сдавать ваш билет».

Время казенных действий на сегодня истекло. Купил бытылку отличного Frascati (Fontana Candida), куренка, артишоков и укрылся в номере.

5 апреля, вторник. К 9 часам утра в австрийское консульство — за транзитной визой. Не тут-то было: «Нужен еще билет на поезд и нота от русских».

Немедленно в российское консульство. О чудо из чудес! мой благодетель на месте, и он делает мне ноту.

Стрелой на вокзал — ведь австрийское консульство в 12 часов закроется! Отстоял очередь за новым билетом на Москву; больше уже никаких разговоров о компенсациях — обычная покупка билета за полную цену.

Немедленно обратно к австрийцам — успел до закрытия. Получаю их транзитную визу (только на двое суток!) на свою филькину грамоту — «Свидетельство для возвращения...».

Потом обратно на вокзал — покупать плацкарту (в первый заезд нельзя было тратить и лишней минуты). Получаю плацкарту — на ней обозначено мое

прежнее место! То самое место, которое значитса теперь у дорожной полиции как украденное! Чем же я теперь отличаюсь от моего вора, которого обещано немедленно арестовать? Начинаю им это объяснять — ни в какую: «Плацкарта выписана, менять не будем. Можете, если хотите, купить еще одну». Подумал и решил: по сравнению со всем остальным это уже мелочь; как-нибудь да обойдется.

Постоял еще в одной очереди, купил снова билет на Флоренцию на завтрашнее утро.

Вечер в гостях у Клаудии. Рассказал всю эпопею. Реакция Клаудии была для меня в высшей степени поучительной: «Обещаю вам, что никому об этом не скажу!»

Швейцария

16 октября 1994. Женева.

Всё еще не проходит удивление: неужели это не обман зрения, не злой розыгрыш, что уже опять среда моего обитания — вот эти чужие улицы, эти французские выкрики рабочих на стройке?

30 октября, воскресенье. С полуночи до 3 часов ночи смотрел (трудно сказать, который раз) «Dolce vita» Феллини — показывают в годовщину его смерти.

13 ноября, воскресенье. Ночью смотрел (второй раз) «L'intervista» Феллини. Изумительно. Опять чувство, которое появляется только от Феллини: болезни нет, старости нет, смерти нет, жестокости нет, реальности нет. Есть только карнавал, добрый беспорядок жизни, мягкость, все во всех чуть-чуть влюблены; и как

квинтэссенция этого всего — завораживающая легонькая музычка цирка: Нино Рота. Снова слышу легкое риминиевское цоканье в божественно мягком голосе Феллини. Очень хорош и Серджо Рубини, которого Феллини вставил в фильм как символ самого себя молодого (чем-то похож на Гиппиуса).

14 ноября. Из новостей: сегодня прошел первый регулярный поезд Париж–Лондон (3 часа 5 минут, 18 минут под водой).

1995

15 января 1995, воскресенье. Поезд Москва–Франкфурт.

В купе девица Галя, лет 28-ми, окончила МАИ, едет к немцу, который собирается на ней жениться по фотографии. Отец, который ее провожал, этим планом безумно удручен. Раннее утро 17-го — подъезжаем к Франкфурту. Девица Галя вся в волнении, непрестанно прихорашивается. В 6 утра прибываем. Девицу Галю никто не встречает. А телефон своего немца она забыла в Москве. Немецкого она не знает (только немножко английского). Денег у нее только-только на обратный билет. И чудится в этой растерянной Гале на франкфуртском перроне какой-то символ всей нынешней России. Оставил ей 50 марок. Но делать нечего — через несколько минут уже отправляется мой поезд на Базель.

19 января. Женева.

Сима Маркиш рассказывает, что в каникулы у него здесь были Юрский и Бродский. Бродский приезжал в Церматт выступать в клубе сверхбогачей. По словам Маркиша, выглядел весьма нездоровым; но несмотря ни на что всю курил. Юрский немного робел в его присутствии.

22 января, воскресенье. Смотрел «A bout du souffle» Годара (1960) с очень молодым Бельмондо и Jean Seberg. Француз-полубандит и юная американка. Француз груб, но большей эгоисткой получается все же она. Диалог превосходный, эпатирующий, блестя-

щий. Как это было давно! Считается, что этим фильмом Годара началась Nouvelle vague. Герой, между прочим, говорит: «... de belles filles на улице — вовсе не в Париже, не в Риме, они есть только в Лозанне и в Женеве». («Ну вот, все-таки сказался швейцарец», — прокомментировал мне это Сима Маркиш.)

Февраль 1995. Женева.

Афиша общества защиты животных: голая баба. Подпись: «Лучше голая, чем в мехах».

13 февраля, понедельник. Утром приехал суперкран ростом в 14 этажей и часа за полтора разъял на куски и унес стоявший у меня перед окнами башенный кран. Жалко, Боря этого не видал!

14 февраля. Позвонили Фекла Толстая и ее подруга Гуля (Каменева): Фекла привезла мне пакет от Марфы (по «Древненовгородскому диалекту»). Марфа все сделала изумительно. И уже есть обложка от Кошелева — довольно приличная.

1 марта 1995. Madame Benzopana, секретарь русской кафедры, испанка, неожиданно говорит мне — без всякого повода и без всякой привязки к предшествующим разговорам: «Vous savez, Monsieur Zalizniak, on vous aime beaucoup, tout le monde». Как-никак все-таки испанка, не швейцарка.

Франция

12 марта. За мной в Женеву заезжает жена Ван-Схонефельда, англичанка, и везет меня во Францию, в их загородный дом в Савойе (у подножия горы Le Môle, хорошо видимой из Женевы). Ван-Схонефельду 74 года, крепок, бодр, гостеприимен, угощает устрицами и белым бургундским. Сын девятнадцати лет и дочь шестнадцати. Дом громаден и симпатично захламлен. Ван-Схонефельд много рассказывает о Якобсоне. «Помню рассказ Якобсона про вашу жену: в 1958 году она говорит ему: “Нет, подождите, профессор, я еще не кончила говорить”».

Швейцария

15 марта. Телевизор: «Амаркорд» Феллини. Все знакомо, но так же прекрасно. Дрожащая цирковая музычка Нино Рота, сказочная «Italia» в ночном море, Gradisca...

Италия

30 марта 1995. Удине.

Пансион Renati (для сирот и малообеспеченных детей). Живу один в огромной комнате на троих. На стене распятие. Из служащих вижу только коменданта (саро) Джованни по прозвищу italianissimo (потому что одержим политическим словоизвержением) и тихого полупомешанного Мауро.

Ко мне стучится Мауро: «Синьор, вас внизу ждет синьорина!» Спускаюсь — Ира Левонтина! «Почему же вы не поднялись прямо ко мне?» — «А к вам женщин не пускают!»

31 марта. Венеция.

Едем с Левонтиной в Венецию. День изумительный, солнце, 8°, тихо, в мареве видна вся цепь Альп над лагуной. Fondamenta Nuove напротив острова Сан-Микеле. Чувство нереальности, парадокса: я этот остров в любой момент могу ясно увидеть с закрытыми глазами, а тут он сверх того еще и сам стоит!

На Пьяццетте к нам подходит молодой человек: «От имени коммуны города Венеции прошу вас обоих бесплатно прокатиться в Мурано в мастерскую стекла. Siete italiani?» Отвечаю на всякий случай уклончиво: «Quasi. Dalla Svizzera». — «А откуда из Швейцарии?» — «Из Женевы». — «О, у меня там друг, Luca Voccati! Не встречали его?»

Силимся разгадать, что это за вариант дарового сыра в мышеловке. Решили: «Все-таки интересно — поедем!» Спрашиваю: «А на чем?» — «Так вот же вас ждет motoscafo» (катер мест на 15, в Венеции это такси). До воды и правда три шага, и мы видим пустой motoscafo с водителем. «А кого еще он ждет?» — «Никого. Только вас двоих!» — «Удивительно!» — «Ничего удивительного. Мы приглашаем именно вас».

Садимся. Наш вербовщик остается на берегу. Водитель дает газу. Открытая корма, мягкие сиденья вместо скамей, два расходящихся пенистых вала за кормой, ветерок, солнце — невысказанная dolce vita! Катер входит в канал и пересекает весь город с юга на север. Через rio dei Mendicanti выходим в лагуну напротив Сан-Микеле. Вся картинка идеально соответствует самым роскошным рекламным плакатам, рисующим прелести курортного юга; не хватает разве что столика с шампанским прямо на борту. На отличной скорости на упругой волне проходим Сан-Микеле и направляемся к Мурано.

На причале нас уже ждут: «Пожалуйста к печи, посмотрите, как рождается муранская ваза». Пожилой элегантный мастер примерно час читает нам двоим прекрасную лекцию о муранском стеклоделии и демонстрирует все это на деле. Говорит хорошо и ясно. Загадочность всего происходящего от этого не уменьшается. Но вот, наконец, демонстрация окончена — и нас приглашают в зал готовых изделий. По сравнению с цехом это уже не так увлекательно и вполне похоже на то, что можно видеть по всей Венеции; так что мы довольно скоро покидаем радушных хозяев и идем просто гулять по Мурано.

Что же все-таки это было за приключение? Полагаю, что наш вербовщик получил за нас выговор или лишился какой-то положенной ему mzды: надо уметь лучше угадывать, кто именно из пожилых синьоров, гуляющих по Пьяццетте с цветущей молодой спутницей, раскошелится ради нее на дорогую покупку.

Перед возвращением на вокзал мы устроились на Canal Grande около моста Скальци на чьем-то пустом деревянном причале с моим любимым итальянским угощением — апельсинами (несравненными, теми, что в Италии весной) и свежайшим белым хлебом. Особое дивное удовольствие, неведомое самим итальянцам. Canal Grande плещется прямо у наших ног. Болтаем ногами над водой. Проходят быстрые motoscafi и вапоретто, медленные гондолы. Пролетела на страшной скорости ambulanza (скорая помощь) — волна расшвыряла всё по берегам. Продолжая свое приятное занятие, не заметили, как оказались в центре целой туристской флотилии: четыре или пять гондол, плотно заполненных японцами, нацелились на нас со всех сторон фото- и киноаппаратами. Еще бы:

никому из их соотечественников еще не удавалось заснять местный венецианский обычай — есть апельсины с хлебом над Canal Grande. Они счастливо машут нам руками и шапками и разнообразно выказывают свое удовлетворение. Мы охотно отвечаем им тем же, поддерживая честь своей Венеции. В десятках японских домов теперь демонстрируются фильмы про это местное диво.

И очень может быть, что с помощью японцев такой венецианский обычай быстро бы и сложился. Во всяком случае хозяин причала явно счел такую возможность реальной: когда я посетил то же место через два дня, причал уже был огорожен и калиточка, ведущая к нему, была на замке.

День удачи, беззаботности и ласковой Венеции.

2 апреля 1995. Чивидале.

На самом берегу Натизоне, под Tempietto longobardo. В реке тьма жирных ленивых форелей, сверкают золотыми искрами — наслаждаются запретом рыбной ловли. Поднимаю взгляд: вид, плавающий душу, — мягчайшей итальянской гармонической красоты и какой-то особой чистоты цвета и рисунка: горы — четыре гряды, от темно-зеленых до снежных; река, зеленая и охряно-коричневая; дома нежных расцветок (нет ни одного с резким цветом); мост — Ponte del Diavolo XV века; высоченный тонкий кипарис, соединяющий все горные гряды; скалы; итальянское небо.

9 апреля, воскресенье. Кампоформيو.

Утро невообразимое: розовоперстая Эос! Со всех сторон стоят промытые горы. Проснулся с чувством летнего утра в ранней молодости.

В 10.40 вышел от Джорджо с велосипедом. Поехал в Кампоформио; дотуда 8 км. Северо-восточный ветер в спину такой силы, что велосипед все время идет сам. Вот уже Osteria «Trattato» — в память трактата 1797 года, заключенного в Кампоформио между Наполеоном и Австрией, по которому была ликвидирована Serenissima (т. е. Венецианская республика). Пустынно, ширь. Обратно против ветра — страшно трудно. Но счастье!

13 апреля, четверг. Венцоне.

Едем с Левонтиной поездом до Венцоне. Крохотный городок, но церковь XIII века. Спрашиваю план местности — нет. Как пройти на Сант-Аньезе? Почти никто не знает, а те, кто якобы знают, отвечают неуверенно и по-разному. Одни говорят: асфальтированная дорога, для машин, другие — strada bianca, solo per andare in piedi (белая дорога, только для пешего хода). Все-таки нашли; оказалось второе. Ни души, горный цирк вокруг, далеко внизу река Тальяменто. Дорога пошла сквозь лесок круто в гору на перевал. Несколько сомнительных развилок в лесу — пришлось угадывать. На крутом подъеме взмок до нитки, стало тяжковато; отдых. Левонтина ведет себя тактично. Но еще немного, и перевал. Сменил все мокрое, обсох. Растянулись на травке — немислимая благодать. Высота 430 м (Венцоне — 230 м). Конечно, для молодых и здоровых совершенно смешные цифры; но когда сердце работает на жилах из ноги, они вполне достаточны для гордости. Кругом итальянский горный рай. Вертикальные скалы (до 1710 м), тепло, южный ветер, легонькие облачка, видно половину Карнии.

Еще 50 шагов — и открылся вид и на равнинное Фриули и Джемону. Сант-Аньезе — это церковь и один дом (на самом перевале); людей нет — все здесь разрушено великим джемонским землетрясением 1976 года. По каменистой дороге спустились в Джемону. Все путешествие — 10 км.

В Пансионе Renati празднуют giovedì grasso: здоровенные лбы распивают — что бы вы думали? — не водку, не граппу, а Asti spumante! Угостили и меня.

15 апреля, суббота. Венеция.

Долго сидел около Santissimi Apostoli, слушал, как играли (очень красиво) какие-то латиноамериканцы — с виду почти индейцы. Им самим было так весело, так достойно — артисты, не нищие! Один — обаятельнейший красавец. Сидел рядом с ними на ступеньках причала так с час — пока они сами не ушли.

Потом оказался у Giardini. Вид несказанный — весь Bacino di San Marco от Лидо до Santa Maria della Salute. Лагуна сияет солнцем, Лидо ярко закатное, Maria della Salute и San Giorgio в контражуре. Травка, парк, асфальта здесь уже нет, туристов нет.

Хорватия

19 апреля 1995, среда. Дорога домой.

Прекрасный тихий вечер в Венеции. Сидим с Ремо Факкани в Bar della Stazione, и он задает мне свои последние вопросы. Сажает меня в вагон Венеция–Москва. И в самом деле, без посторонней помощи я сесть бы уже не смог: добавились чемоданчик, рюкзак и, разумеется, Ремово яйцо — шоколадное пасхальное яйцо размером в футбольный мяч для гай-

дуковских детей. Проводники говорят, что в Венгрии забастовка — возможно, не проедем. В 21.22 отправление.

В Вилла Опичина пограничник суров: «Почему нет штампа въезда?» Отвечаю: «Потому что в Домодбосоле (на границе с Швейцарией, откуда я въехал) ваши колллеги не такие старательные, как вы». Некоторое время изображали неумолимость; но итальянцы не французы — после спектакля отпустили.

В 2 часа ночи въезжаем в Словению. Сежана. Словенский пограничник с каменной физиономией молча забрал паспорт, вышел из вагона и двинулся куда-то в темноту в сторону от станции. Идет в какую-то домушку метрах в двухстах от поезда, где среди полного мрака чуть-чуть светятся окна. Идти за ним или ждать? Стоянка поезда 14 минут, из которых часть уже прошла. Решаюсь идти к домушке и пытаюсь войти. Рывкают: «Не входить!» Около домушки десяток таких же, как я, — русских и украинцев. Их разговоры убивают: «Да, теперь у них так. Когда я сюда ехал, у меня поезд ушел. У них здесь часто остаются». Осознаю, что если поезд уйдет, то у меня уедут не только вещи, но и лекарства. А они, похоже, нужны уже немедленно. Однако же вынесли паспорта все же на полминуты раньше, чем поезд пошел.

Утром в четверг мы уже в Копривнице, на хорватско-венгерской границе (для Хорватии, по счастью, пока еще визы не нужно). Слух подтверждается: в Венгрии действительно железнодорожная забастовка. В вагоне всего три-четыре человека, среди них полухорватка Ясна, которая везет мать-украинку на родину в Киев после 33 лет жизни в Истрии. Пошли втроем в город, обменяли десять долларов на куны.

Выручает лишь помощь Ясны, потому что везде всё шалаяй-валяй: обменщица денег «ушла на базу», телефон не работает, кода для звонка за границу никто не знает. В Копривнице боев не было, так что следов войны не видно. К ночи поезд двинулся назад — в Загреб. С большим трудом проводнику удалось добиться, чтобы вагон отцепили, а не отгоняли дальше в Венецию (для меня бы это означало выброс с вещами из вагона на итальянской границе, поскольку итальянская виза у меня однократная).

В пятницу проснулся: все еще Загреб. Забастовка в Венгрии продолжается. «До какого же срока они бастуют?» Отвечают: «До победы». Сперва никто не решается отлучаться от поезда: ведь в любую минуту могут объявить отправление. Но постепенно все к этой оседлости привыкают и начинают гулять по городу.

В загребском соборе чуть ли не по всему периметру парадная глаголическая надпись огромными буквами, правда, явно не древняя. Конфигурации букв непривычные, угловатые. Списал всю надпись, чтобы точнее разобрать на досуге. (Вечером показал ее Ясне, но она оказалась не очень в этом сильна.)

Жарко: 27°. Город полон гуляющих, наслаждающихся преждевременным летом. Стилль жарких южных городов: дефилировать, показывая себя. Фонтаны, переполненные кафе, южный кайф. Война не чувствуется, разве что много попадает солдат в камуфляже. Заголовков в газете: «Бояться ли ракетного удара по Загребу, который обещает Караджич?»

(Как я узнал потом из газет, удар, правда, не ракетный, а артиллерийский, по Загребу, причем именно по району вокзала, произошел через четыре дня после этого.)

Наш вагон все-таки угоняют в Венецию. Но удалось переселиться в другой вагон, такой же неподвижный: Загреб–Москва. Здесь уже есть и свои жители, например, четверо парней из украинских «голубых касок», которые получили отпуск на десять дней, чтобы из района боевых действий съездить на родину на Украину. Ребята лет восемнадцати-двадцати, нанялись добровольно: им платят сколько-то долларов — вещь для Украины невероятная. Нервные, малость приبلатненные, разговор уже свой, на военном жаргоне, то и дело слышно «муслики» (это явно их противник — мусульмане). Есть русская парикмахерша, живущая здесь, в Загребе. Когда выяснилось, что поезд стоит на месте, к ней пришел муж с двумя детьми — забирать ее домой. Но ей уже настолько понравилась здешняя компания, что она все семейство отправилась обратно, а сама осталась.

Три дамы из каких-то московских институтов возмущаются; они решают идти просить помощи в российское консульство. Через какое-то время возвращаются — с видом побитых собак, глядя в землю и отмалчиваясь. Их встретили так: «Предъявите документы!» А дальше: «Ах, подумайте, вы живете в вагоне, у вас, видите ли, кончились деньги и продукты! Ничем помочь вам не можем, у нас своих забот хватает. И вообще, в этих поездах в основном институтки ездят».

Суббота. Забастовка продолжается. Ищу способы как-нибудь объехать Венгрию — отправился разведывать дорогу в австрийское консульство. Оказался на горе, утопающей в роскошных садах, — Тушканац; здесь была, как мне объяснили потом, дача Тито. В консульстве объявление: отдел виз закрыт на ремонт

с 14 по 21 апреля (сегодня уже 22-е, но суббота!). С трудом нашел какого-то мелкого служащего, пытаюсь ему что-то объяснить. «Какие тут визы? — говорит он мне, — у них же белят потолки! Попробуйте зайти в понедельник».

Возвращаюсь «домой» — в вагон, а там курорт: проводники и голубые каски в трусиках, обливаются водой, жгут костер (sic) за запасными путями, загорают, наяривает магнитофон. Включился и я: разделся, облили из ведра. Собрали немного денег — у кого сколько оказалось (у многих не было вовсе) — и отправили посыльных на базар за картошкой. Парикмахерша забавляется тем, что достала откуда-то раскладной стульчик и подстригает по очереди всех желающих. Подстригла и меня.

Сам вагон уже раскалился как жестянка (каковой он, собственно, и является). Ремово шоколадное яйцо расплавилось и стекло на дно упаковки. Наш удивительный проводник Гриша Гринберг (чего только не случается на свете!), заботливый и человечный, откуда-то раздобыл шланг и поливает вагон сверху. Помогает, но не сильно.

Тут приходит из города Ясна и объявляет мне: «Пойдемте, мне кума приказала без вас не возвращаться». Пришлось извиниться перед всей полуголой компанией, что я выбываю из предстоящей братской трапезы. Но они увидели, что моя причина уважительная, аж завистливо присвистнули. Торжественно пошел с Ясной, хоть и с трехдневной щетиной (побриться-то ведь нечем, в отцепленном вагоне электричества нет).

Зачем же я понадобился загребской куме? А вот, оказывается, никогда не знаешь, что из чего полу-

чится: на куму произвело неотразимое впечатление, что есть человек, который читает глаголицу! Сама она, конечно, не посягает на такое высокое.

Приходим. Кума — Златица, по прозвищу Дунда («толстуха»), 50 лет, вулканическая балканка (реально, кстати, вовсе не дунда), врач по алкоголизму и наркомании; муж вроде бы где-то в отъезде. С порога: «Dobro došli, вот вам папуши, вот вам ванна, вот вам бритва». От бритвы я все-таки отказался. И вот начинаются Балканы. Стол на четверых, где с трех сторон стулья, с четвертой — что-то вроде трона, порядочно выше стульев. На троне мужчина, то есть я. С трех сторон три женщины — Златица, Ясна и мать Ясны, — которые соревнуются в том, кто быстрее и лучше мне угодит. Разговор украинско-хорватский, но постепенно хозяева скатываются просто на хорватский; иногда мне приходится и итальянский — они могут и так. После роскошного обеда новая диспозиция: мужчина в огромном кресле с подставкой для ног, хозяйка за роялем улаживает его слух (довольно профессионально); за окном цветущая гора.

И все это — ровно ничего не спросив меня, кто я; об этом ни слова. Как если бы сама мысль о том, что это может иметь какое-то значение при приеме гостя, была позорной. Острое ощущение другого мира, уже не западного. (А ведь Хорватия гордится тем, что она Запад, не чета дикой Сербии и прочим еще более азиатским Балканам. Что же тогда там?!) Когда хочу посидеть помолчать, никто меня не трогает. И как ни странно, я чувствую себя в этой нереальности легко, как будто все это литературное, Синдбад-мореходское — так и надо. Афанасий Никитин, да и только. Или Марко Поло из «Le città invisibili» di Italo Calvino,

которую мне подарил на дорогу Ремо Факкани. Удивительные вещи бывают с человеком, пока он жив.

Обращение: *gospòdine Andrej* или просто *gospòdine*. Перед рюмкой возглашают: *Z Bogom, pameti!* Спрашиваю, как это понять. Говорят: примерно «Пей и все забудь!». Стал допытываться, зачем тут слово *pameti*, откуда берется смысл «забудь». Никто внятно объяснить не мог. И тут меня самого осенило: да это же вокатив! (а *z Bogom* — это, как обычно, «прощай»). Златица сперва не поверила, стала быстро вспоминать, чему ее учили в школе про падежи. А когда поверила, случился целый балканский взрыв восторга: «Этот человек учит меня моему хорватскому языку!» И тут же подносит мне в честь этого почетный подарок — бутылку какого-то особо ценного хорватского виньяка.

Воскресенье. Православная пасха. О забастовке как-то уже больше в вагоне не разговаривают. Жизнь начинает принимать некие устойчивые формы. 28°. Сходил на автобусную станцию: на Гамбург, на Роттердам — пожалуйста; но с Будапештом автобусной связи нет. Наш Гриша Гринберг договорился с хорватскими железнодорожниками, сварил на весь вагон супу и чаю в павильончике за путями. Там же в несколько очередей (посуды-то нет!) с наслаждением всё съели.

И тут, когда уже никто не ждет, приходит весть: утром поедем.

Понедельник. Снова Копривница. Но на сей раз уже удастся преодолеть недоступную венгерскую границу. Венгерский таможенник проходит быстро и почти ничего не смотрит. Но мне захотелось устроить уже

известный мне эксперимент. Говорю ему: Јо парот кíвапок! (добрый день). Результат мгновенный — в точности предсказанный теорией: «А ну, откройте чемодан!»

Как изумительно несется поезд по венгерской равнине! Как будто машинист соскучился от забастовки. Как совершенно по-набоковски кричит локомотив! — без нужды, для собственного удовольствия, как конь.

В Будапеште получился целый час для беседы с Эрной Пал.

Вторник. В Киеве простился с Ясной и ее матерью.

Среда, 26 апреля. В 3 часа ночи: «Подъем! Граница России!» (это Брянск). Наш вагон отцепляют: выпала тяга тормоза. Гриша Гринберг пошел на переговоры и преуспел: мы все-таки поехали дальше. Потом он честно признался, что он им просто дал.

Итак, всего одна неделя, и я уже добрался до Москвы. Карамзин так быстро бы не доехал.

Финляндия

13 мая 1995, суббота. В 9 утра московский поезд приходит в Хельсинки. Встречает Ханну Томмола. Поездили и погуляли по городу. Пообедали вместе с Марьей Лейнонен. Томмола очень мягок и симпатичен. В 18 часов так называемый паром на Стокгольм: «Silja Serenade». Это чудовище выше хельсинкского собора. Каюта single размером с Аютину комнату, душ, огромное окно. Даже стыдно.

Швеция

14 мая. Проснулся: за окном шведский берег и валит снег! В Стокгольме Пер Амбросиани отвозит на вокзал. Поля покрыты снежком — как в декабре 1992 года! Упсала.

Вечером Улла уже ведет на концерт: Carmina burana, дирижер — шведская звезда, Cecilia Rydinger Alin, 34 года, потрясающая. Замечательный хор. Зал переполнен. Народное действо, фурор. Потом продолжение в холле на парадной лестнице. Поют старые патриотические песни — разумеется, антирусские. Публика уже не отделена от хора — древнее единство актера и публики. Флюид шведской гордости и величия необыкновенно сильный. Дева, под два метра, в морской форме с желто-голубой лентой через грудь, а за ней рота моряков — поют на марше. Как дева на носу корабля Vasa в Стокгольме! Пронзительное чувство восхищения перед величием. Вчуже (за шведов) восторг.

15 мая, понедельник. Снег идет не переставая. В 14 часов лекция о древнерусской акцентологии. По-русски, но это-то, увы, и трудно: часть слушателей понимает с трудом, поэтому много мученических лиц и это давит. Такая плата за удобную возможность говорить на своем языке. В конце лекции вошла Лена: только что приехала.

20 мая, суббота. Улла и Гуннар везут нас «на дачу» — в Даларна, в 110 км от Упсалы. Настоящая глубинная Швеция: лес среди камней, холмы, озеро, мягкие краски, север, мох, тролли. Дом — нечто среднее ме-

жду избой и виллой. Как и при других домах — шведский флаг. На соседнем хуторе конюшня великолепных скаковых лошадей. Напротив — лечебница для маньяков азартных игр. «К этому ведет та же биохимия, что у альпинистов, — объясняет Гуннар, — биологическая потребность острых ощущений».

25 мая, четверг. Улла везет нас на машине на мыс Врета Удде на озере Мэларен, к югу от Упсалы. Погода прекрасная, яркая. Вода с трех сторон, парусники на фоне лесистого холмистого берега. «Каменный лес», все цветет бурно, торопясь успеть за короткое северное лето. Потом в Старую Упсалу, к курганам и церкви.

26 мая. Поезд на Стокгольм, и Лена провожает меня на ту же «Silja Serenade». Каюта еще роскошнее прежней, двуспальная, с телевизором. Ночью вышел на самый верх корабля. Густой туман, призрачная рубка просвечивает во мраке. Ниже виден танцсалон, где беспечно мелькают пары. А корабль идет полным ходом в полной слепоте и часто-часто гудит — тревожно и, как кажется, даже жалобно, — прорываясь вперед в сыром холоде дикого пространства.

1996

Франция

26 января. Париж.

В зале рукописей Национальной библиотеки по специальной предварительной договоренности мне выдали новгородскую берестяную грамоту № 266, которую в свое время советское правительство преподнесло в дар де Голлю. (Она попала к ректору Сорбонны, а после его смерти пропала бы вовсе у его наследников, если бы не старания Клер Ле Февр, которая сумела найти ее следы и убедить передать ее в Национальную библиотеку.) Зал огромный — раз в десять больше соответствующего зала в Ленинке. Он полон. И какие же умопомрачительные фолианты развернуты перед большинством читающих!

Зарисовал как можно тщательнее все хвостики букв, видимые на обрыве: ведь по фотографиям удалось установить, что эта грамота — не что иное, как вторая половина грамоты № 275! Для проверки этого проще всего было бы, конечно, прямо приложить один фрагмент к другому. Но как раз это, увы, едва ли когда-либо удастся осуществить: по иронии судьбы грамота № 275 была тогда же подарена шведскому королю.

Пришел сам заведующий отделом рукописей. Он очень горд, что у него теперь есть документ такой категории, которой в других великих европейских библиотеках нет вовсе. Настолько заинтересовался спецификой берестяных грамот, что стал ходить на мой цикл лекций о них в Ecole Pratique des Hautes Etudes (три лекции: 29 и 30 января и 5 февраля).

29 января 1996. Известие о смерти Бродского.

1997

Франция

22 марта 1997. Париж.

Поезд Женева–Париж. Вечером в театр La Nuchette на «La leçon» Ионеско. Получил большое удовольствие. И очень специальное ощущение, когда театр вмещает всего человек пятьдесят. Почти как на домашнем представлении для друзей.

23 марта, воскресенье. Попал на выставку «Париж 50-х годов» в Ратуше. Та эпоха — чистая история, скажем, как 1789 год. Все смешно, старомодно, облезло, по-бабушкиному. Радиоприемники-сундуки с потертыми матерчатыми фасадами. Из них звучит Брасенс и т. п. Сидит на стульчике старик — долго, размяк. Но ходят и молодые: им слегка любопытно про доисторическое время. Деньги того времени — вот они! Автомобили! Джинсы! Контролерши на входе в метро. Береты на людях!! Газеты с кричащими заголовками: Венгрия, Порт-Саид, приход де Голля. Крутятся рекламные ролики, которые запускали в кино перед началом сеанса и которые когда-то так поражали меня своей яркостью и изобретательностью, — боже, какие ядовитые краски! Эта реклама расхваливает все наиновейшее — боже, какое старье! Даже духи Диора — аляповатые. Да, отлично поработали нынешние мастера: всё ridiculisé (подставлено под осмеяние) первоклассно. Вот, например, пояснение про джинсы: их дали поносить своим европейским подружкам американские солдаты. И они стали символом эмансипации.

Потом к Мельчуку и Лиде на rue du Dahomey (метро Faïdherbes). Попозже пришел Огибенин с женой. Хорошо посидели. Мельчук равен себе, но помягче обычного. Знает всё, как надо, — что в лингвистике, что про Саддама Хуссейна. Беда в том, что все безвольны. Он бы сделал всё сразу же. Но других таких, как он сам, он почти не встречал. Дело в том, что он родился почему-то со знанием всех ответов, а почти все прочие просто не знают, чего хотят. Снова, как обычно, провозглашает свою главную идею: немедленно применить, где надо, водородную бомбу. И при всем этом словесном людоедстве всё так же обаятелен и мил. Лида стоит за его плечом и показывает мне глазами: «Ну ты же ведь знаешь, что не надо слушать всю эту чепуху! Посмотри, какой он на самом деле очаровательный!»

Снова повторяет мне свое обычное: «Как я рад, что ты занимаешься чепухой! А то бы мне ничего не осталось».

24-го встреча с Метейе, потом с Клер Ле Февр. Легкий дождичек, тротуары в свете фонарей блестят каким-то своим парижским мокрым блеском, как я очень люблю. Вечером снова к Мельчуку. Снова очень душевно посидели — опять до последнего метро.

Испания

25 марта 1997 в 16.00 поезд, именуемый Париж–Мадрид. В действительности он доходит только до Ируна, т. е. до границы, а дальше не идет: там рельсы другой ширины — как в России. Границу (= станционный зальчик) пассажиры переходят пешком; контроля никакого. Оказывается, однако, что это еще в

сущности не Испания. Это Баскония: все надписи по-баскски, испанский лишь в качестве перевода. Ах, как сразу пахнуло незапамятными временами — семинаром по баскскому языку у Мартине!

В 22.50 поезд на Мадрид. Набит до отказа. В крохотном купе шесть полков, заняты все. Если повернуться на бок, то верхнее плечо уже задевает следующую полку. Для вещей не предусмотрено вообще никакого места, их надо всунуть в тот же гробик, что и свое тело. Все мои соседи — дамы. Они говорят на четырех разных языках.

26 марта, среда. Проснулся с восходом солнца. Старая Кастилия. Невиданная страна: камни, камни, лесов нет, деревца растут поодиночке. Цвет желто-коричневый, иногда чуть в розовое. Алкаэн Санчес потом объяснил мне, что имя такой земли — *alcaén*. Растительность закрыть этот цвет не может, она образует лишь темно-зеленые пятна. Везде невысокие горы. А людей нет! Пусто, без хуторов. Дорог мало, часто грунтовые, утопанные, ярко-алкаэновые.

Мадрид. Встречает Алкаэн, везет в гостиницу, потом к себе.

Тогда же Эскориал («Святой Маврикий» Эль Греко) и Авила. В четверг Толедо («Похороны графа Оргаса» Эль Греко). В пятницу Сеговия. В субботу Прадо («El caballero desconocido» Эль Греко — тот, что у меня в комнате на стене). В воскресенье второй раз в Толедо («Вознесение» Эль Греко, его автограф и предполагаемая могила). И многие-многие часы задушевных разговоров о московских друзьях, о бывшей жене Алкаэна Тамаре, о прежней московской жизни. Перед каждым шедевром Алкаэн говорит: «В

этом месте Толя Гелескул сказал...». А перед некоторыми еще добавляет: «В этом месте Адольф Овчинников сказал бы...» (Адольф в Испании не был).

Из рассказов Алкаэна (по духу изображаемой жизни и по тону они мне напоминают Фазиля Искандера):

Алкаэнов дядя был чудак, сумасброд. Среди прочих его нелепых выдумок было то, что он завел моду на футбол в Испании. Это он основал команду Real Madrid. А умер он оттого, что его сбросил буйный жеребец, которого он ни за что не хотел кастрировать. Ему сказали: «Причастись — дело серьезное!» Он так обрадовался, что скоро увидится с Богом, что чуть не выздоровел.

Была с ним и такая история. Он женился и тут же повел молодую жену на бой быков. А в Испании обожают бои быков с какой-нибудь выдумкой. Был, например, однажды, бой быков со слоном. Победил слон — он хоботом перешвырял быков через барьер.

Дяде повезло — они попали на лучшее из лучших: бой быка с тигром! Публика клокотала от восторга и нетерпения: кто сильнее?! *Quién vencerà?* Бык перепрыгнул от ужаса через барьер. Ничего не оставалось, как его пристрелить. Пуля срикошетила от песка и по касательной выбила молодой жене глаз. Осталась одноглазой на всю жизнь.

Идет *Semana Santa* (страстная неделя). В четверг видел в Мадриде процессию, заимствованную, как говорит Алкаэн, из Севильи. Идут в балахонах и куколях с прорезями для глаз и рта. Впереди на лошадях, за ними группа за группой, в куколях разного цвета. Идет *Hermanidad del Cristo de la Misericordia y de la Buena Muerte* (братство Христа милосердия и

доброй смерти). Под барабанный бой, время от времени под трубы. Медленно, раскачиваясь. В конце, впрягшись, везут carro (богато украшенную открытую повозку) с Христом или с Девой Марией. Толпы зрителей. За процессией идут горожанки — благочестивые, в черном, в севильских кружевах, в reinetas (кокошниках). Со всех балконов, как в «Севильском цирюльнике», смотрят дамы. Балкончики узенькие, сантиметров 30, но они почти у всякого окна.

В мадридской толпе много лиц деревенского типа, особенно у парней. Это не Париж.

31 марта, понедельник. Рано утром по Мадриду. Улица Лопе де Вега — где-то под ней потерянная могила Сервантеса. Рядом улица Сервантеса — на ней похоронен Лопе де Вега. Никого нет. Откуда-то долетают звуки испанских народных песен — как ожившие пластинки из нашей юности. Иду на звук — оказывается, это не радио! Поет для собственного удовольствия женщина, которая моет дверь в особняке с надписью: «Здесь vivió у murió ... Лопе де Вега».

Вокзал Чамартин, поезд на Барселону. Арагон: горы, вместо алкаэна земля посерее, деревьев мало. Арагонская деревня в горах — поразительная: высокие каменные дома, бедные на вид, склеенные в сплошные стены между двух гор. Граница деревни — и сразу безлюдье. Грунтовые дороги, поля террасами.

Иногда вдали суровый замок. Сарагосса. Уэска. Дамочка в купе охотно рассказывает соседям о себе: «Мне 30 лет, гуляю с 50-летним. Он хочет жениться, но мне это низачем не надо. Хочу пользоваться жизнью!»

Лерида — это уже Каталония: надпись по-каталонски — Lleida. И вот Барселона.

1–2 апреля 1997. Барселона. По городу и по музеям. Побывал у знаменитых текучих зданий Гауди — около и внутри. Действительно впечатляют. Забрел в музей Пикассо — в нем оказался только Пикассо самый ранний — начиная с 14 лет, пока он еще не отправился на завоевание Парижа; любопытно видеть, какой он в эту пору еще простенький реалист (и усердный копировщик картин Веласкеса).

Среди многого другого попал на выставку: Peter Greenaway. В названии что-то об Икаре. Стихии воды и полета. Смесь абсурда, музея техники, скульптуры из реальных предметов, звуковых и световых эффектов. Философски-поэтизированные тексты-комментарии, фрагменты знаменитых картин и проч. И оказывается, в целом это безумие впечатляет. Зал живых людей в стеклянных кабинках: «Решайте, годится ли из них кто-нибудь на роль Икара?» Один — совершенно голый, великолепно сложенного, лет двадцати с небольшим. К нему подходят (все-таки немного с бочка) две девицы лет шестнадцати, долго беседуют, одна гладит его легонько по стриженной голове.

3 апреля. Поезд Барселона–Монпелье. Подъезжаем к Жероне. О прибытии на станцию объявляют на трех языках. Лингвистические эффекты при этом — совершенно замечательные. Надпись на станции: Girona. В каталанском объявлении это, как и следует ожидать, [dʒiróna]. Ожидаю, что по-испански (т. е. по-кастильски) будет Gerona = [xeróna], но нет: произносят, ломая себе язык, тоже [dʒiróna] — боясь гнева каталонцев. Во французском ожидаю [ʒeron] — ничуть: тоже ломая себе язык, произносят [xeróna]! (т. е. сработала принятая ныне мода всё произносить по-иностранным).

му, только по политической невнимательности сориентировались на кастильский).

Ближе к Пиренеям начались лесочки — странные шаровидные сосны. В дымке видны и снежные вершины, но не очень высокие. У самой границы поезд выходит к морю. Местечко Llançà красиво вдается в море, вроде Ментоны, только без французского курортного блеска — всё диче и суровее. Port-Vou — граница (у самого моря). Поезд медленно переходит с широченных испанских рельс на узкий путь. Как ему это удастся, не знаю — никаких домкратов нет, и операция занимает не два часа, как в Бресте, а 20 минут. Может быть, у них двойные колеса?

Французская пограничная проверка — чрезвычайно тщательная, хотя обе страны шенгенские. (Испанской проверки нет вовсе.) Туннель — и Serbère: Франция.

Франция

4 декабря 1997. Эзри (через границу от Женевы).

Вечер у Жоржа Нива в Эзри с Эрнстом Неизвестным. Лет под 75, могуч. Молодая красотка-жена. Весь вечер рассказывал про своих великих друзей и знакомых: Сахаров, Горбачев, Ельцин, Максимов, Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Михаил Шемякин. Отлично рассказывает. «Шармовой мужик» — про многих из друзей. Учился на философском, откуда и круг друзей. Из его рассказов:

Сахаров — неверующий святой. КГБ боялось его наивности.

Муза Солженицына и Максимова — КГБ. Максимов, Зиновьев, Шемякин не могут жить без врага, за-

вянут, обессилеют. Максимову повезло, что Синявский его пережил.

Зиновьев — Эрнстов друг! — шизофреник, талант. Ненавидел Сталина, но просто хотел быть на его месте — полная мегаломания. Бешено ждал, когда сдохнет Хозяин: «Ты понимаешь, ведь тогда власть будет валяться под ногами! Мы должны подобрать!»

(Через день я прочел статью Зиновьева в «Литературной газете»: да, без сомнения шизофреник. Полностью за возврат советской власти. И физиономия ужасная: шизофреническая и фанатическая.)

В Горбачева Эрнст Неизвестный за три часа разговора «влюбился»; о чем говорили — не знает.

Ельцин — царь, с гениальной интуицией. Пьяница — и только такой может править Россией. Ни интеллигент, ни Горбачев не может.

Еще рассказывал, как профессорствовал в Америке — преподавал скульптуру и т. п. «Ну да ведь это гроши — бросил». Подприхвастывает, но в общем-то понравился, оставил сильное впечатление. Мог бы ведь хвастать своими успехами, а хвастает друзьями. Похоже, был доволен попасть в круг русских слушателей.

Швейцария

14 декабря 1997. Женева. Вилла Риго.

Как? День прошел? Черно зияют окна,
И снова Сириус и снова Орион.
Луна пополнилась, чуть небо затянулось,
Всё тот же сумрак — время неподвижно,
Лишь мы скользим в нем — мимо, в никуда.

1998

Италия

15 марта 1998. Флоренция.

Поезда Женева–Милан–Флоренция. Встречает Донателла, едем к ней. Д'Арко в сравнительно неплохой форме. Оставил филологию, пишет воспоминания о своем пилотском прошлом, о Сент-Экзюпери. Дживневра еще подросла, любезна, радушна.

16 марта, понедельник. Пиза.

Донателла везет меня в Пизу. Некоторая деликатность положения состоит в том, что тысячелетняя борьба Флоренции с Пизой еще не кончена. И меня уже обучили многовековому лозунгу Флоренции: *Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio* (лучше мертвец в доме, чем пизанец у дверей). И вот флорентинка Донателла получила место профессора в Пизе. Она говорит мне: «Поживите все-таки сначала дней десять в Пизе, ну а потом уж мы вас поселим по-настоящему — во Флоренции. А в Пизу будете просто ездить».

А в университете здесь обстановка очень симпатичная. Особенно обаятелен Делл'Агата. Очень понравился Коля Михайлов; манерой говорить напоминает Топорова.

Во вторник 17-го первая лекция большого цикла. *Aula magna*, человек 70–75. Предлекционное состояние ужасное; начал еле живой. Слов не хватает. С нарастанием стресса понемногу пошло; но пробил

страшный пот. Кричать на 70 человек — измот сильнейший.

В четверг вторая лекция (история Новгорода и т. п.). Народу столько же. Язык уже пошел полегче. Хорошо психологически помогает Делл'Агата, доброжелателен, слушает замечательно. На третьей лекции уже понемногу начал привыкать. На четвертой (23-го) пустил листок записи. Записалось 72 человека (только студенты, взрослые не записывались); студентов 9, студенток 63. Со всех четырех курсов. Фамилии, к моему удивлению, оказались монолитно итальянскими: только одна фамилия славянская и одна греческая.

26 марта – 1 апреля 1998. Рим.

Отель Nord, потом пансион Corallo. 26-го в 17.26 землетрясение с эпицентром в Умбрии. В Риме было прекращено заседание Сената и т. п. Я просидел этот момент в забегаловке self-service (именуемой, однако же, «ресторан») на via Manin и ничего не заметил: мало ли почему может шататься стол в таком месте!

Потом во Флоренции я рассказывал об этом: «Вот, к сожалению, за столом так и не заметил землетрясения». — «Невероятно!» — воскликнула Симонетта. — «Что невероятно?» — «Как вы могли оказаться в 17.26 в ресторане? Что вы там делали?!»

Сцена на Circo Massimo: на зеленом поле высокий красивый негр то ли танцует, то ли демонстрирует какие-то па. И десяток тонких змееподобных девиц, вполне белых, извиваясь, повторяют его движения. Танцкласс под открытым небом?

30 марта доклад у Колуччи, в La Prima Università di Roma (на via Nomentana). Колуччи — гостеприимный, вальяжный, много рассказывает о Якобсоне. Доброжелательно оценивает мой итальянский язык: «Владеете морфологией глагола, нет аканья. Ну, конечно, две-три ошибки в согласовании времен, индикатив вместо конъюнктива после *credo che, penso che*. Правда, без конъюнктива после *credo che* говорит и мой сын, так что через сто лет это исчезнет. Но согласование времен не исчезнет!»

1 апреля доклад у Красимира Станчева, в La Terza Università di Roma (близ Termini), про новые находки. Про «двуногий юс» (в азбуке № 778) Красимир заявил с решительностью: это просто перевернутый ук, вот и всё!

Апрель 1998. Флоренция.

С вечера 1 апреля я уже живу на углу *via del Mogo* и *via delle Belle Donne*, у адвоката Франкини. Окно выходит на маленькую треугольную площадь с чумным столбом чуть ли не XIII века. 3-го случайно забрел в чужую для меня часть города — на *Borgo San Frediano*. Вдруг крик: «Андрей Анатольевич!» Янка! Обнимаемся посреди улицы. Она тут, как выясняется, на каких-то международных курсах. Только что вышла из подъезда своего дома. (Янка лет пятнадцать подряд — с восьмилетнего возраста — участвует в новгородской экспедиции; и вот уже, оказывается, доросла до международной деятельности.)

14 апреля. Эсте.

Я у Розанны в Падуе. Приехал Ремо, и мы втроем едем в Эсте. Огромный этрусский музей. Этрусских статуй здесь хватило бы на десятки музеев, и каждый

из них считался бы богатым. Особенно волнуют залы надписей — прежде всего венецких. Лучшую из них удалось даже понять просто из индоевропейских параллелей:

ΕΧΟ [...] VINETIKARIS VIVOI OLIALEKVE MURTUVOI ATISTEIT — ‘Я [...] Винети-кар (≈ «Венето-нѣгъ») живому или же мертвому поставил’. Похоже сразу и на латынь (*ego, carus, vivo, -que, mortuo*), и на славянский (*живоу, мъртвоу*), и на санскрит (*aham, jīvāya, atisṭhat*). А эти поразительные VIVOI, MURTUVOI вообще больше нигде в таком идеальном виде не сохранились!

После Эсте побывали еще в Аркв́а-Петрарка. Дом Петрарки в изумительном саду, на вершине небольшого холма, который образует островок «маленькой Тосканы», возвышающийся над окружающей равниной. Всё сохранности необыкновенной — и дом с мебелью и утварью, и могила самого Петрарки. Чутьочку похоже на дом Достоевского в Старой Руссе, да вот только там 19-ый век, а здесь 14-ый!

15 апреля. Падуя и Венеция.

Магаротто рассказал вчера, что в Дуомо только что поставили и открыли для обозрения удивительную новую церковную скульптуру — «климтианскую», вызывающую столько же восторгов, сколько и возмущения, с традиционной точки зрения совершенно еретическую. С раннего утра отправился туда — и был совершенно потрясен и пленен. В святую Джустину (она главная мученица Падуи) просто влюбился. Не мог оторваться, только время от времени подходил или садился с новой стороны. Никто не мешал, все это время в соборе было абсолютно пусто.

Сила любви, выраженной в этом прекрасном лице с закрытыми глазами и во всей этой фигуре, совер-

шенно невероятная, завораживающая. Можно себе представить, как невыносимо ханже видеть фигуру такой чувственной силы, как он должен возопить: уберите, не лгите нам, что это любовь к Богу, к Богу такой любви не бывает.

Потом поехал в Венецию. Во Фрари висит среди прочего русский архангел Михаил (как и в Santa Maria di Trastevere в Риме) — с идеей примирения к юбилею 2000.

Около Santissimi Apostoli меня кто-то сзади окликает: «Professore!» Оборачиваюсь — босяк, небритый, с гордым видом. «Откуда вы взяли, что я professore?» — «Siete tutti o avvocati o professori (все вы или адвокаты или профессора)». Завязывается разговор. Рассказывает про себя: «Sono veneziano!» — «Da Venezia Venezia o da Mestre? (из самой Венеции или из Местре?)» — «Come mai da Mestre! (как это из Местре!)». Идем вместе как добрые приятели, слушаю отработанную историю о том, как он имел свою лавку, заболел, выселен, спит в вагонах. «No bisogno di 10 mila, ti renderò quando ti vedo (мне сейчас нужно 10 тысяч, когда тебя увижу, отдам)». Сразу понятно, что не какой-нибудь нищий: те просят тысячу; и те попрошайничают, а ему просто оказалось вот сейчас нужно. Дал 5 — он не стал мелочиться, величественно простил меня. Распрощались за руку, alla borghese. Быстренько пошел вперед по Strada Nova, на моих глазах от стены отделился его друг — пошли допивать.

16 апреля. Флоренция.

К вечеру пришла Янка, просидели до глубокой ночи. Потом проводил ее до Сан-Фреддиано, но домой возвращаться не захотелось — долго еще гулял по почти совсем пустой Флоренции нежнейшей сырой

весенней ночью. Синьор Франкини чрезвычайно заинтригован Янкой: «Come? È una russa?» А ей крайне лестно, что ее принимают за путану с *via del Moro* или *via delle Belle Donne*: на этих двух улицах они действительно каждый вечер стоят, возбуждая Янкино воображение (вторая просто оттого так и названа).

18 апреля. Флоренция.

У Донателлы. Д'Арко болен, но со мной беседует как прежде, оживляется, радуя этим Донателлу. А потом я получаю от Донателлы такое поручение, что рискую лопнуть от гордости: «Вы ведь знаете Флоренцию — может быть, вы могли бы проводить Джиневру к кино *Supercinema* на *via Cimatori*, где у них встреча с одноклассниками. Мы только недавно переселились в город из Кьезановы, Джиневра еще не освоила Флоренцию». Идем. Джиневра — воспитанная девочка, ведет какой-то подходящий к ситуации интеллигентный разговор. Прямо, направо, налево, прямо... Жаль, что дорога такая недлинная. И в упении от роли чичероне я совершаю ужасную ошибку. На последнем повороте перед кино, где тактичному человеку следовало, конечно, беззвучно раствориться в воздухе, я, продолжая что-то говорить, спокойно заворачиваю за угол. И только по несчастному выражению на физиономии Джиневры осознаю, что произошло: она вошла в поле видимости своих одноклассников. Панически бежал — кажется, все-таки раньше, чем она успела по-настоящему покрыть себя позором.

19 апреля, воскресенье. Вольтерра.

«Я с удовольствием бы вас прокатил куда-нибудь, — говорит Делл'Агата. — Куда бы вы хотели?» Не за-

думываясь, отвечаю: «В Вольтерру и в Каррару». — «Отлично! Едем в Вольтерру». Немыслимая весенняя Тоскана — вся холмы Мандельштама, свет, мягкость, земной рай. Движемся в сторону Сан-Джиминьяно. Его сказочные башни видны издалека. Получается так, что мы их объезжаем с трех сторон. И вот вдали показалась Вольтерра — огромная крепость на холме. Поднимаемся на этот холм. Сверху открывается огромный, но странный и уже далеко не столь идиллический мир: в разных местах, вблизи и вдали, из земли вырываются струи пара, иногда целые гейзеры. Это знаменитые лечебные воды, поясняет Делл'Агата.

Вольтерра велика сразу тремя своими прежними жизнями. Это древнее сердце Этрурии — и стоят циклопические этрусские стены и ворота. Потом это мощная римская крепость. Потом процветающий город эпохи Медичи; бесценная для киношников *Fortezza Medicea* на вид совершенно неприступна (со временем ее превратили в сумасшедший дом, а теперь в тюрьму; явно очень хороша для обеих этих функций).

По нынешним меркам городок, конечно, невелик. Видимое движение на улицах происходит, по первому впечатлению, в основном за счет плотных отрядов японских туристов.

Этрусский музей — еще более чудовищный перебор по количеству, чем в Эсте. А порядка и пояснений еще меньше. Такая сверхконцентрация может нравиться только специалистам-этрускологам, которых горстка. Неизмеримо большее число людей научилось бы ценить эти скульптуры по достоинству и получать от них удовольствие, если бы, скажем, половина всех этих нагроможденных друг на друга богатств находилась в ста обычных музеях.

На обратном пути посетили еще Чертальдо (точнее Alto Certaldo) — очень выразительный городок с крепостью на горе. Здесь дом Боккаччо (сейчас, разумеется, музей) и его могила. Так что у меня получились симметричными знакомство с восточной Этрурией и домом Петрарки и знакомство с западной Этрурией и домом Боккаччо.

22 апреля. Каррара.

Студентка Kwang Gianfranceschi написала диплом о жизни в Новгороде по данным берестяных грамот, очень неплохой. Кванг — кореянка, удочеренная в младенческом возрасте итальянской семьей; в этой семье у нее один брат — кровный сын, другой — усыновленный итальянец. Ее родной язык, разумеется, итальянский. Kwang — по-корейски ‘голубая’, поэтому у нее есть еще «запасное» имя Azzurga. На первой странице ее диплома — текст, который я сперва принял за эпиграф. Оказалось, однако, что это ее собственный текст — это как бы тональность, которую она задает сама себе:

Cerchiamo sempre la voce del passato: aneliamo di conoscere l'anima e i sentimenti di coloro che hanno lasciato testimonianza della loro esistenza, siano esse piramidi nel deserto o città sepolte; ne rimaniamo sorpresi, affascinati. E l'incantesimo si è ripetuto ancora una volta: le voci degli abitanti di Novgorod la Grande ci hanno attirato ed ammaliato come il canto delle sirene.

«Мы всегда ищем голос прошлого: мы стремимся узнать душу и чувства тех, кто оставил свидетельство своего существования, будь то пирамиды в пустыне или занесенные песком города; мы ими поражены, заворожены. И колдовство повторилось еще раз: голоса жителей Великого Новгорода завлекли и околдовали нас как пение сирен».

Делл'Агата и Кванг везут меня теперь в Каррару. С нами брат Кванг (он за рулем) и ее руководительница Сильвия, которая сама похожа на студентку. Дорога идет между цепью гор и морем. Доезжаем до Каррары и поворачиваем в горы, к каменоломням. Длинный серпантинный подъем. День сияет. И вот появляются первые скалы, у которых вместо нормального бурого склона — нечто невероятное: мраморная стена! Поднимаемся выше и открывается целый амфитеатр из таких скал. Все эти горы вокруг — целиком из каррарского мрамора! Три тысячи лет человек откалывает себе от этих гор столько прекрасного мрамора, сколько может отколоть и унести, — и всего лишь немножко оголил им кое-где бока; ни одна из гор не стала от этого ниже!

Рычащие машины вгрызаются в белые бока гор как черные жуки. Время от времени слышны взрывы. Отпиливают от скал «бруски» размером 1×2×3 метра. Чуть что в этом «бруске» не так — его немедленно просто бросают. Такого кругом огромное количество. Хороший «брусочек» затем уже распиливают на специальных станах проволокой с алмазом.

Везде в склонах гор устроены террасы и к ним подъездные дороги — разумеется, тоже мраморные, — по которым самосвалы могут добраться до этих террас. В местах, где человек вгрызается в скалу уже давно, образовались уже целые мраморные амфитеатры со множеством рядов-террас.

От каменоломен едем в деревушку Колонната, которая здесь поблизости. Все то, что в русской деревне из дерева, а в украинской из глины, здесь — из мрамора: дома, заборы, улицы, вымостка дворов... На серомраморной ограде близ церкви — беломраморная

доска: «Товарищам-анархистам, павшим на пути к свободе».

24 апреля. Пиза.

Последняя лекция в Пизе (10-я). Aula magna. Заканчиваем грамоту № 752: *ци ти боудоу задѣла своимъ възоумьемъ аже ми са поцьньши насмихати а соудить б(ог)ъ и моа хоудость* (буде даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнешь надо мною насмеяться, то судит тебя Бог и моя худость [= я]).

Я уже к своим пизанским слушателям привык. Это моя самая многочисленная и самая внимательная аудитория из заграничных. Сидит и милейший Делл'Агата. В конце говорит: «Вы перевели *насмихатиса* как *burlarsi*. А я бы перевел по-другому: *sforttere (sforttermi)*». (Слово, которое нынешний словарь квалифицирует всего лишь как *ropolare*, но производное от глагола, так сказать, фундаментального списка.)

Ответ выскочил у меня как-то автоматически: «*Non mi posso permetterlo* (я не могу себе этого позволить)». Такого грохота аудитории, который при этом раздался, я давно не упомню. Специально посмотрел: девицы хохотали не менее отчаянно, чем молодые люди.

Этим и закончился мой пизанский курс.

Потом еще было небольшое *rinfrschino* («подкрепление»), во время которого студенты подходили ко мне с разными словами. Особенно умилил меня вопрос: «Скажите, почему старославянские тексты читать скучно, а ваши древнерусские интересно?»

1999

Италия

6 апреля 1999. Милан.

В метро Brenta на стене:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

И рядом:

Mariangela puttana

Все-таки великий культурный центр, ничего не скажешь.

Сообщение по телефону: «Гиппиус соединил грамоту № 572 с № 877».

7 апреля. Венеция.

Едем с Ремо Факкани на Сан-Микеле. Райская весна, хотя и foschia (дымка). Сперва в gerarto greco, где Дягилев и Стравинский. Над Дягилевым надпись: 1872–1929 Serge de Diaghilew; сверху: *Венеція постійна вдохновительница нашихъ успокоеній*. Вот такое приглашение Бродскому.

Бродский оказался не с ними, а в gerarto evangelico, близко от Эзры Паунда. Пока еще все временное: крестик из двух побеленных дощечек, легоньких, надпись JOSEPH BRODSKY. А наверху кто-то мелко и косо приписал карандашом: ИОСИФ БРОДСКИЙ. Много живых цветов и масса мелкой символики от

посетителей — монетки, в т. ч. русские и израильские, жетон московского метро, иконки, авторучки (одна привешена на крест), даже сигарета. Через могилу перебегают зеленые ящерицы, прячутся между цветами — потом опять на солнце. Его вечность еще почти не началась, до цикладской статуи еще очень далеко. В просвет ворот видно лагуну (немножко), за ней кое-что от Венеции.

Вернулись в город. Недалеко от Сан-Бárнаба вдруг слышу: «Андрей!». Клара Янович.

9 апреля. Падуя.

В университете у Розанны Бенаккьо читаю лекцию о том, что найдено в Новгороде после моей предыдущей лекции здесь (в 1994 г.). Пришли Ремо, Магаротто, Мариза Феррацци, Дежё. Ласкают: Магаротто похвалил за ясность и за заботу о слушателях-студентах; Розанна восклицает: «Чтобы почти два часа держать внимание студентов — это невероятно». В течение всей лекции неотступно работал отбойный молоток — улучшали фасад к юбилею. Пришлось кричать, да нешуточно: глотка вспухла так, что почти не мог глотать.

«Где-то здесь есть симпатичный ресторанчик *Magchiaro*, — сказал Ремо, — зайдем-ка!» Но поиски *Magchiaro* несколько затянулись: метод Ремо состоял в том, чтобы остановить на улице хорошенькую девушку или молодую даму и основательно ее расспрашивать. Разговор был каждый раз приятный, но *Magchiaro* почему-то после этого все равно не отыскивалось. После пятой, кажется, информантки оно все-таки нашлось. Ремо остался очень доволен падуанками; их любезность, по его словам, выше, чем во всей остальной Италии. В итоге очень приятно посидели с

ним в Marechiarо над карпаччо. Распухшую глотку взяли лечить хорошим вином — постепенно помогло.

Вечером у Розанны в гостях Магаротто с женой. Магаротто умный, спокойный, деликатный, хорошо знает Россию. Жена твердо стоит на позициях западной цивилизации. Я рассказывал о пугале для русских под названием «продают Россию!» (*vendono la Russia*). Она полупереспросила, полупоправила: «Наверное, *svendono?*» Я не знал, каким нюансом отличается *svendono* от *vendono*; может быть, это что-то вроде ‘распродают’? В конце концов разъяснилось: *svendono* — ‘продают за бесценок’! Идея, что «продают» само по себе может восприниматься со знаком минус, западному сознанию недоступна намертво.

12 апреля. Милан. Узнал, что родилась Мелания.

14 апреля. Милан.

Купил у спекулянта билет в *la Scala*; он мне сказал: «*Siamo mercato negro*» (мы — черный рынок). Обычным путем купить билеты (кроме сверхдорогих) нельзя; мой билет был продан в феврале. «Женщина без тени» Рихарда Штрауса — гастроль кёльнского театра, по-немецки; но выбора нет — другое будет только через месяц. Пели, как кажется, неплохо. Роскошный вид зала, лож, бессчетных ярусов. Зал хлопал не бешено, но все-таки сильно. Около меня студент яростно орал: *Brava! Bravi!* Тут только я осознал, насколько дико было бы итальянской певице услышать наше «Браво!».

16 апреля. Милан.

7-я лекция. Хорошо читали, включилось уже человек шесть. В одном месте чуть помог, сказав: «Ес-

covi un rò di aiuto». А на следующем ходу одна красotka меня растрогала: «Ancora un rò di aiuto!» Дело пошло хорошо. После занятия подходят и говорят приятное. Давно замечаю, что западные студенты, в отличие от российских, довольно свободно говорят комплименты преподавателям, если им нравится. Это, конечно, от чувства равенства. В России ситуация пока еще ближе к старинной; и похвалить преподавателя после лекции воспринимается скорее как дело нескромное. Здесь же дистанция между студентом и лектором гораздо короче.

18 апреля. Комо.

Утро. Поезд Милан – Комо. С утра горы стоят полукругом и сияют снегом. 40 минут — и Комо. Но при этом снежные горы спрятались — выступили ближние, зеленые. День изумительный — солнце с холодком. Катерком по озеру, час с четвертью. Театрально, конечно, и открыточно. Но ведь красиво, что ни говори! Рядом две пары, лет по 45; в обеих он широко раскрытыми глазами смотрит на красоты по берегам, она прикорнула.

Потом на фуникулере на гору до высоты 700 м. А оттуда круто вверх пешком по ослиной тропе до Fago Voltiano — маяка в честь Алессандро Вольты, который здесь жил и похоронен и вообще местная святыня. В последнем поту, но долез — и даже влез на сам маяк Вольты (1000 м). Но вид оттуда действительно стоит того: 360 градусов, озеро, на север массив Монте-Роза, т. е. весь кантон Тичино, на юг огромнейшая равнина (planum), посреди которой Medio(planum — Милан, а вокруг бесчисленные городки со звонкими названиями: Legnano, Marengo, Montebello, Saronno,

Gorgonzola... Такое ощущение, что блекловато-розовые крыши везде и пустого пространства между ними вообще нет. А в ближнем поле зрения буйные фиолетовые магнолии, еще что-то цветет белым, другое желтым.

20 апреля. Милан.

Последняя лекция — 8-я. Студенты (реально это студентки) уже хорошо втянулись, почти везде, где надо, догадываются. Прощаемся. Подходят еще и в коридоре. Одна говорит, довольно сурово: «Spiacevole (неприятно)». Несколько растерянно спрашиваю: «Почему?» — «Perché è finito».

Германия

24 апреля 1999. Переезд Больцано–Мюнхен (в Больцано меня отвез Коля Михайлов после того, как я был у него в гостях в Ora).

В поезде албанец из Косова. Работает в Германии, ездил в Кукес выручать свою семью — это человек двенадцать. С его заработком семья в Косове обзавелась домом, машинами, телевизорами. Пришли сербы, всё это вынесли, машины забрали, дом подожгли. Теперь он перевез всех своих в Тирану, нашел им квартиру из двух комнатенок — это тысяча марок в месяц. «Албанцы Албании ужасны — хуже всех в Европе». Грабят беженцев наголо, захватывают трактора, машины, даже то, что выдают из гуманитарной помощи. Довезти до Тираны — 400 марок; но как отъедут, вынимают револьверы: «А теперь выкладывай все деньги, а сами вон из машины!» Албанцы

Косова по сравнению с коренной Албанией — богачи, белая кость. В Албании они живут теперь среди своего нищего, озверенного, ненавидящего их плебса.

25 апреля. Лейпциг.

Плакат в вокзальном супермаркете: Hier bin ich ein Mensch. Hier kauf ich ein! (здесь я человек: здесь я покупаю).

2000

Италия

31 марта 2000. Венеция.

Сан-Микеле. На могиле Бродского теперь уже стоит камень: *Letum non omnia finit*. Много красивых цветов, совсем свежих — лилии, розы, что-то вроде красных калл и гигантских незабудок. Но все разметано бурей, которая была позавчера. Немножко поправили. Монетки лежат в особой чашечке.

Пачечка исписанных листов, завернутых в прозрачную пленку: «книга записей». Но пленка ее от бури не спасла: всё промокло насквозь, листки слиплись, чернила расплылись. С некоторым колебанием беру эти листки в руки. Разумеется, это чужие письма; но через день-два они погибнут вообще; а они, пожалуй, каким-то краешком все же входят в русскую культуру. Между листами уже устроилась маленькая улитка. Чем-то немного похоже на положение человека, читающего берестяные грамоты. Сходство еще и в том, что половина букв уже не опознается: нужна работа расшифровщика. Решаюсь прочесть. Почти всё то, что еще можно разобрать, — женские письма. Несколько писем по-английски, но в основном по-русски. Иногда по-русски с иностранными ошибками. Подписаны именем или инициалом. Беру на себя дерзость некоторые привести (без подписей, конечно, и без обращений):

«It's a beautiful sunny day and we've come to pay a visit. Masha says hello. We all miss you»;

«Очень печально, что мы увидимся здесь, а не в Амстердаме»;

«Вы мне снитесь и даже появились на дереве в виде рыжего кота»;

«Я была лишь тем, чего ты касался рукою»;

«... Как жалко, что все в прошлом»;

«Жаль, что я поздно Вас узнала»;

«Жалко, что не встретились. Но ведь там тоже что-то пишется, правда? Или нет?»

И много записок, где просто строчка или две-три из самого Бродского.

Вот и зеленая ящерица перебежала поперек — как и год назад.

Июль 2000. Женева–Москва.

Пришлось совершить дополнительную поездку в Женеву (на неделю), чтобы принять экзамен, и отсидеть на ученом совете, где утвердят аспирантуру для Изабель Валлотон.

14 июля в дорогу домой. Изабель вздумала ехать вместе со мной на поезде. Объясняю ей, что со ступеньки московского вагона начинается Россия — со всеми возможными коннотациями.

В московский вагон (Кёльн–Москва) теперь можно попасть только в Брауншвейге. Сперва поезда на Карлсруэ и далее на Брауншвейг: нормальный немецкий сидячий комфорт. Подъезжаем к Геттингену. Впервые вижу место своего будущего сидения. Остановка (одна минута) — на перроне лучезарный Гиппиус. Передаю ему картинку иконки-Варвары, которую мне прислали из Москвы. Мы еще не знаем, что уже сутки, как найдена находка века — цера, она же Новгородский кодекс.

Брауншвейг. Вечер. Ждем поезда из Кёльна. Билеты у нас в разные вагоны: покупались в разные дни.

Наконец поезд появляется. Стоянка две минуты. Влезаю в свой вагон, а Изабель проводники почему-то прогоняют в хвост поезда. Успеваю заметить, что она все-таки куда-то села. Выясняется: ее вагона в поезде нет вообще! У него загорелись тормоза, и его отцепили — для российских вагонов за границей вещь заурядная. Пассажиров в таких случаях рассовывают кого куда совершенно бесцеремонно. О соблюдении класса билета или о компенсациях смешно и говорить. Все происходит по российскому неписаному канону: человек, готовый заплатить (или уже заплативший) деньги, — всегда лишь жалкий проситель по отношению к держателю реального блага, будь то кусок колбасы или место в вагоне. Изабель из милости пристраивают как попало в каком-то польском вагоне. Ни о какой постели речи нет. Ее жажда приключений и всего, что противоположно швейцарскому тихому болоту, начинает удовлетворяться ускоренно.

Мои переговоры с хозяевами положения приводят, наконец, к некоторому частичному успеху, но только наутро. Изабель переселяется в Варшаве в мой вагон, и мы вздыхаем с облегчением: испытание позади, теперь осталось только спокойно скоротать сутки в купе.

И вот Брест — граница. Забирают паспорта. Через полчаса появляется капитан и мягким голосом: «Кто здесь Изабель?» (то ли не отличает имен от фамилий, то ли их специально учат такому вкрадчивому разговору с преступниками). «Забирайте свои вещи и идите со мной». — «А в чем дело?» — «У вас нет белорусской транзитной визы». — «Так ведь не нужно, если есть российская!» — «Уже полтора месяца, как стало нужно!» — «Ну так поставьте здесь». — «Не-

возможно: в Бресте нет консульского отдела. Вы должны ехать за визой в Варшаву или в Гамбург».

(Как потом выяснилось, после очередного непризнания Западом Лукашенко взбеленился и приказал терзать всякого западного человека, вздумавшего сдурить ступить на белорусскую землю, всеми мыслимыми видами издевательств.)

Выхожу с ней в вокзал. Картина не меняется. Кампания еще очень свежа, поэтому и наш капитан и другие неправдоподобно неподкупны. И вот преступницу Изабель с двух сторон подхватывают два пограничных молодца и очищают от нее родную белорусскую землю — запихивают ее (без всяких билетов) в вагон, идущий в Варшаву.

Из Варшавы ей удалось перелететь белорусское государство без визы через верх. Дороговатое, конечно, вышло путешествие; но учение, как говорят, дорогого стоит.

А 22 июля я уже был в Новгороде и впервые увидел то, что стало предметом моих занятий на целый ряд лет, — Новгородский восковой кодекс.



Нотр-Дам со стороны Pont de la Tournelle



Ecole Normale



На острове Сен-Луи



Лекция в Констанце. Май 1988



Женевские студенты. Март 2000



Флоренция. Вид на купол Брунеллески и колокольню Джотто из внутреннего двора Сан-Лоренцо



Холмы Тосканы



У памятника Джордано Бруно на Кампо dei Fiori.
17 февраля 1990



Апеннины (дорога Флоренция – Рим)



В семье Чеккинов. Виченца, февраль 1990



Приближение к Венеции



Северный берег Венеции. 29 апреля 1991



Карнавал в Венеции. Февраль 1990



Венеция. 29 апреля 1991



В Венеции. Февраль 1990



С Леной на мосту Академии. Май 1990



На Пьяцетте. Февраль 1990



Лекция в Венеции. 11 мая 1990



С Борей в Венеции. Май 1991



Боря в Венеции. Май 1991



Университет Венеции. На балконе. 11 мая 1990



Дорога из Тревизо в Тренто



Дорога из Тиррении в Марина ди Пиза. 14 мая 1990



Ginestra на склоне Везувия. 9 мая 1991



С Мариной ди Филиппо на Везувии



Нетуристская улица в Помпеях



С Симоном Маркишем. Женева, ок. 1993



С Анютой. Париж, Лионский вокзал. 4 марта 1990



Напротив Сан-Микеле. Май 1990



Motoscafo



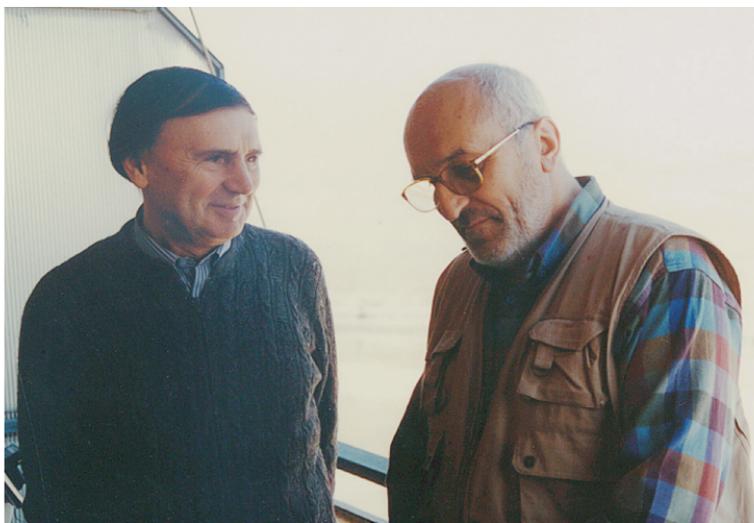
Венцоне. 13 апреля 1995



Между Венцоне и Джемоной



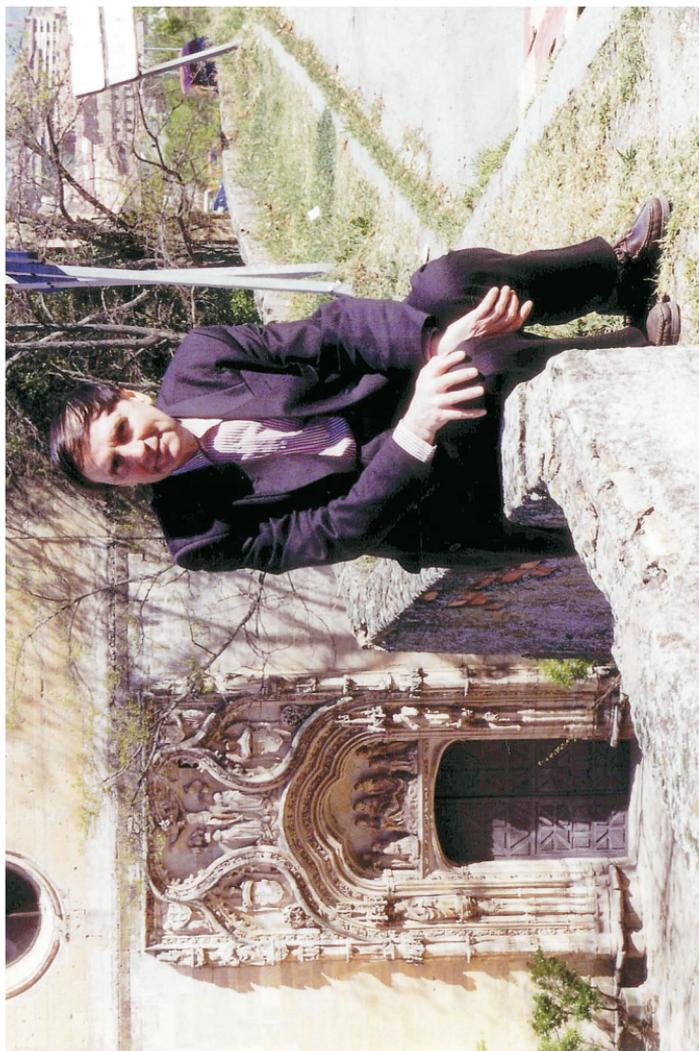
Сеговия. Март 1997



С Алкаэном Санчесом. Мадрид, март 1997



Толедо. Март 1997



Авила. Март 1997



С Кванг Жанфранчески.
Каррара. 22 апреля 1998



Лекция в Пизе. 22 апреля 1998



С Джузеппе Делл'Агата. Апрель 1998



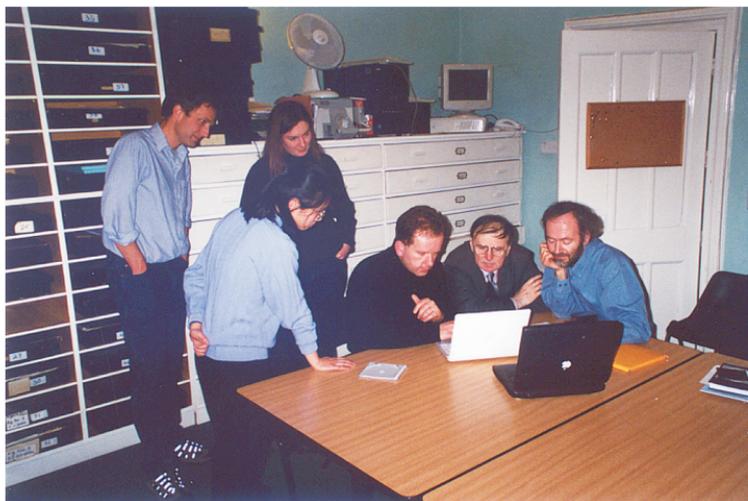
С Виллемом Вермеером. Краков, сентябрь 1998



Лондон, Westminster Bridge



Кембридж



Оксфорд. В лаборатории Боумэна.
Справа Саймон Франклин, слева Сяо-бо Пань.
Февраль 2002



Лена, ок. 1956

*Ван-Схонефельд...: «Помню рассказ Якобсона про вашу жену:
в 1958 году она говорит ему: "Нет, подождите, профессор, я еще не
кончила говорить"»*



У Колизея. Май 1990



Во Флоренции. Май 1990



На Боденском озере. Июнь 1988



Венеция, campo San Giacomo dell'Orio.
29 апреля 1991



Янка в палатце адвоката Франкини.
11 апреля 1998



Пестум. 25 марта 2002



На Капри. 26 марта 2002



Салерно. Март 2002



Везувий с моря. Март 2002



26 апреля 2005 г., Москва.
Презентация первого издания



На мосту Pont au Change в Париже. Апрель 2009

Из переписки во время пребывания
в Геттингене

Из письма Лены Гришиной. 31 октября 2000.

... Можно, например, по осеннему Геттингену погулять, вдруг какая немка красивая встретится, на нее можно посмотреть, не вспоминая о Псалтыри. Еще бывает природа, леса, небеса, чудеса и все такое.

Из ответа Лене Гришиной. 5 ноября 2000.

... Письмо Ваше трогательное, только как Вам удалось сморозить такую безмерную глупость: красивую немку! Разве Вы не знаете, что Господь обделил этот народ, сказал: дам вам гегелей и гумбольдтов, но только не это. Так что только если какой-нибудь романтический тевтон вывез себе жену из России или Италии. А холмы и леса — это есть, они подметены, у входов в леса стоят огромные карты с указанием тропинок, точек красивого вида и скамеек.

Из письма Лене. 12 ноября 2000.

... Он [Лефельдт] ведет себя так восхитительно, как будто ему кто-то насмерть приказал не таскать меня в академию и не знакомить с господами профессорами. спрашивает только одно: удобно ли Вам работается.

Так ничего, хотя и голодно. Уже два раза (!) варил овсянку — сразу по полной кастрюле, чтобы доотвалу.

Статьей Живова зачитываются в Италии, и вот меня уже требуют в Падую и во Флоренцию об этом им докладывать.

[Статья Живова в каком-то из популярных журналов — рассказ о чтении скрытых текстов Новгородского кодекса.]

2001

Из писем, посланных из Геттингена

Лене Гришиной. 14 февраля 2001.

Здесь уже приоткрывается весна — не хуже, чем у Вас на Украине. Настолько, что взял да и сорвался с места на три дня в Париж. А там вообще было голубое небо (правда, если честно, то только первый день). А Парижем могло иной раз пахн^уть в любую погоду — в лифте, например. А видеть ни на одном перекрестке не видел ничего, чего бы не видел столь же явственно в произвольный момент в произвольном месте, закрыв глаза. Даже уже и не понимаю, хорошо это или плохо.

Анюте. 15 февраля 2001.

Париж до неправдоподобия равен самому себе. Более наглядного свидетельства бренности отдельного маленького человеческого существа не придумать. Я бы возил в Париж солипсистов, которых надо вылечить от идеи, что мир — это их представление и умрет вместе с ними. И мелкие нелепые парижские новизны, вроде гигантского колеса обозрения, высотой в три обелиска, не где-нибудь, а на place de la Concorde, или покрытия Эйфелевой башни сверкающей чешуей, не только не нарушают этого саморавенства, но даже как бы его подтверждают.

И, конечно, несравненное ощущение, будто в кино с отключенным звуком вдруг дали звук!

Свожен по культурной программе среди прочего не куда-нибудь, а в Gaîté Montparnasse и в Atelier — на

одну пьесу неплохую и одну блистательную. И говорят не пулеметно, как в Comédie Française, а совершенно по-человечески. О чем ты говоришь! — восклицает Ирен. — Это же Catherine Rich и сам Philippe Noiret!

А еще я тебя познакомлю с Жакобом, говорит Ирен. Оказался поразительный человек. Учитель, еврей из Алжира, все свободное время ищет в Сахаре следы насильственно мусульманизированных евреев XIV века. И нашел! Нашел могильные плиты в пустыне. А раньше преподавал в Алжире, пока в его классе не похитили по бедуинскому обычаю в жены девочку-ученицу. Он заявил властям (тогда уже независимого Алжира) — и его тут же в тюрьму. Как израильского шпиона. Его друг заявил по этому поводу протест — и того немедленно в ту же тюрьму. (Это, случайно, не подрывает твоей гордости за уникальность и неповторимость твоей родины?) И сколько лет по тюрьмам, пока их двоих не вызволили разные международные комитеты спасения. А с другом потом было так. Он не видался с родственниками, пока не пришлось поехать на похороны матери (отца уже не было). Так братья и сестры заскандалили из-за дележа наследства уже на дороге с кладбища к дому. Тогда он сказал: подождите меня здесь, мне нужно ненадолго зайти в дом. Зашел в дом, залил все бензином и сгорел вместе с домом и всем наследством. А ты говоришь: Шекспир! А я смотрю на этого Жакоба с его мягким голосом, и мне совершенно ясно видно, что они с другом были очень похожи.

Марфе. 21 февраля 2001.

Янину можете пересказать вот что. В городе Сабрюкене меня после лекции везут к некоему па-

мятнику: огромнейших размеров величественная молодая дама в церковном одеянии. Оказывается, святая Варвара. На месте, где в 60-х годах произошла самая страшная катастрофа в истории шахт Германии — погибло 300 шахтеров. Не удивляйтесь, в Сарбрюкене шахты прямо в городе, из-за подкопов все время трескаются дома. Так что памятник она получила на том месте, где хуже всего сделала свое дело — никого не уберегла. Видимо, чтобы в следующий раз заботилась получше.

Марине Бобрик. 1 марта 2001.

6 марта еду в Италию, которая, как выясняется, так сильно горит желанием все знать про наш кодекс, что мне предстоит обслужить чуть ли не четыре университета.

Анюте. 2 марта 2001.

Еду по наиотборнейшим местам Италии. Если бы еще мог и прокушать ихние по всей трассе выставленные мне вина и сыры (чего не могу) — трасса-то ведь пролегает по людям, а не по гостиницам, — то можно было бы вообще себе позавидовать. Но полного счастья, как известно, нет.

Анюте. 6 марта 2001.

Про итальянский ты не ошибаешься. И у них нет понятия The итальянского языка — каждый говорит малость по-своему (возьми Факкани хотя бы), и они нетвердо знают, что такое ошибка против итальянского языка. И нет ощущения, что ты кривыми лапами лапаешь святое. Юрский по-итальянски чуть-чуть — но выступил у них с какими-то сценками по-

итальянски и имел бурный успех. А французский он знает очень прилично, выступил во Франции по-французски — и его вежливо попросили на следующем представлении выступать по-русски.

Лене Гришиной. 6 марта 2001.

Еду в благословенные края. Новые города посещать не собираюсь. Мой туризм состоит теперь только в том, чтобы видеть виденное, а еще точнее то, что и так прочно нарисовано на оборотной стороне век. Предстоит спуститься сверху до средненижней точки (Неаполь) и потом двигаться по другой ветви обратно до верха. Поразительно то, что я везде буду на постое у знакомых, и это ни в одной точке не пугает — везде такие люди, с которыми мне легко, а не надсадно. Ни во Франции, ни в Швейцарии я такого себе абсолютно не нашол. Там я сам бы просился в гостиницу.

Италия

Март 2001. Флоренция, Пиза, Рим, Неаполь, Падуа.

8 марта, четверг. Флоренция. Доклад о Новгородском кодексе у Франчески.

9 марта, пятница. Пиза. После доклада во Флоренции Донателла сказала: а что если мы без всяких формальностей и договоренностей с начальством завтра съездим в Пизу и вы там тоже это расскажете? Сказано — сделано. Только Делл'Агаты не было: он уехал в Рим. («Чтобы послушать ваш доклад в Риме», — как он потом любезно пожелал мне это объяснить.)

12 марта, понедельник. Рим. Доклад про скрытые тексты Новгородского кодекса в славистическом кружке университета Roma Tre у Красимира Станчева (на via Castro Pretorio). Народу много. В первых рядах Борис Успенский, Делл'Агата.

Накануне Красимир сказал мне, что доклады-вать нужно по-русски, и я так и настроился. Но перед началом доклада неожиданно для меня он говорит: «Давайте решим, на каком языке мы будем слушать доклад. У нас есть выбор, поскольку докладчик довольно прилично говорит по-итальянски». Тут Делл'Агата с места со смехом подает реплику: «Да уж получше тебя!» Это, конечно, явная чепуха: Красимир, в отличие от меня, говорит по-итальянски по-настоящему, и очень гордится этим. Но Делл'Агате уж очень хочется немножко понасмехаться над величием председателю — впрочем, вполне беззлобно. Красимир продолжает: «Я думаю все же, что нам следует послушать доклад по-русски. Надеюсь, тут все понимают по-русски?» В ответ слышу чью-то реплику: «Разумеется! Тут некоторые как раз не понимают по-итальянски!»

Выхожу, наступает всегдашняя тяжелая стартовая пауза перед тем, как удастся выдавить из себя первое слово. Наконец, набираю воздуха, чтобы произнести что-то вроде «Я расскажу сегодня о...», и тут Красимир вдруг встает и повелительным жестом останавливает меня: «Подождите! Я вижу, что там в задних рядах появилась целая группа студентов с отделения политики. Они не знают русского. Давайте-ка все-таки по-итальянски!» Это после целого референдума по языковому вопросу! У меня слегка перехватывает дух, но стартовый сдвиг, видимо, уже произо-

шел, и я слышу себя самого, произносящего: «Oggi racconterò...»

«Ну так как же, Красимир?» — сказал Делл’Агата сразу после конца доклада. Красимир развел руками: «Не могу опровергнуть». (Возможно, впрочем, он сказал «пока не могу» — точно не помню. Основательно взялся за опровержение он, насколько мне известно, лишь двумя годами позже.)

14 марта, среда. Неаполь. Доклад у Бориса Успенского.

16 марта, пятница. Падуя. Доклад у Розанны Бенаккьо.

В Падую, чтобы повидаться со мной и забрать у меня компьютер, который рискованно провозить в поезде через Белоруссию, на два дня приехала Лена из Лугано, где она в это время читала лекции. Для Италии, конечно, нужна виза. Но Лена решила, что обойдется и так. Оделась как западная деловая дама, купила «Times» и просто села в поезд Лугано–Милан. Граница минут через двадцать после Лугано. В купе еще двое мужчин. Итальянский пограничник аккуратно проверил у них паспорта, скосил глаз на развернутую лондонскую газету — и пошел дальше.

2002

(из поездки в Англию, Францию и Италию
в феврале – марте)

Англия

16 февраля 2002. Геттинген — Ганновер — Кёльн — Брюссель — Лондон (4 поезда, 9 с половиной часов). Полное ощущение, что поперек Европы ездят, за малыми исключениями, сплошь африканцы и азиаты. Соседи: две броские девицы марокканки — арабский язык (какой-то почти без гласных — кажется, в Магрибе именно так) со вставками французского. Дама и девочка, на вид мартиниканки. Четверо из Конго, экспансивные, колоритные, язык — полная смесь французского с конголезским. Но один отвечает всегда по-французски, причем, в отличие от остальных, совершенно чисто. Другой чудовищно громадный и страшный, а глаза добрейшие, простодушные; посмотрел в окно: «Глядите-ка, какая у них здесь грязь — *comme à Brazza*» (так надо понимать, в Браззавиле). Чем не российская реакция!

В Брюсселе перед посадкой в Евростар просвещение багажа, как в самолете. Проверяют уже англичане. Я им говорю: у меня там нож для хлеба. Через несколько минут офицер выкликает: «У кого здесь нож?» Подхожу. «Покажите». Осмотрел, подумал, пропустил. Решил, видимо, что мне с таким ножом угнать поезд и повернуть его на Копенгаген все-таки не удастся.

В Евростаре объявление: *Smoking is not permitted in the train. Il est strictement interdit de fumer dans le train.* Вспомнилось, как в рассказе Аксенова Вася ви-

дит в самолете надпись «Не курить» и что-то еще по-английски; возможно, по-английски было написано «Курите, пожалуйста» — Вася не знал по-английски.

После Лилля уже почти темно. Показались огни Кале и линия берега — и вдруг поезд без всякого колебания на хорошей скорости ныряет в черную круглую дыру. Через 25 минут небо вернулось, но поезд уже почему-то поплелся неуверенно, с какими-то зацепками и остановками в поле. Потом радио сказало: «Из-за трудностей движения в туннеле поезд прибует на вокзал Ватерлоо с опозданием в 15 минут» (на деле оказалось 30). А туннель, между прочим, поезд прошел вполне по расписанию. (Перед обратной дорогой Jonathan Steele, бывший корреспондент «Гардиан» в Москве, в ходе прочих рассказов о безобразиях в Англии сказал мне: вот поедете по Англии со скоростью 80 километров в час, а потом по Франции со скоростью 300 — тогда поймете, какая разница между наследием Тэтчер и Миттерана!)

Сколько меня ни предупреждали, что такси должно быть только казенное, лицензированное, с белой светящейся панелью на крыше и т. д., все равно я попал в лапы халтурщика, который, как только тронулись, так и начал решать по мобильнику (разумеется, по-арабски) все свои неотложные новоарабские дела. После виляния по переулочкам выкатились на мост, где он остановился под фонарем, чтобы начать изучать свой толстый атлас Лондона. Я ему говорю: «Да ведь это никак Westminster Bridge» (полагая, что с вокзала Ватерлоо вроде бы естественнее попасть на мост Ватерлоо). «Еще бы не Westminster, — он мне отвечает, — когда вот он стоит Big Ben». Но тут по мобильнику выяснилось, что мы сперва поедем не к

Марго, а в магазинчик его брата, где в данную секунду происходит что-то намного более важное. После визита к брату он полностью запутался в улицах, и пришлось уже мне разбираться в его атласе. В завершение содрал вдвадорога, ни во что мне не засчитав ни мою штурманскую работу, ни мое сочувствие к проблемам его брата.

Первое утро в Лондоне: проснулся в доме у Марго, выглянул в окно и что же? — густой сплошной лондонский туман. (Но часа через три совершенно рассеялся и даже вышло солнце.)

Полдня гуляния по городу и катания на вторых этажах хрестоматийных красных автобусов. Лондонская шутка континентальному пассажиру, который подходит к машине справа, приятно удовлетворяющая уже готовое ожидание тонкого английского юмора (как вскоре выяснилось, абсолютно штампованная): «Вы хотите править моим автомобилем, сэр?» И один раз у самого Вестминстерского аббатства я таки спокойно пошел наперерез быстрой машине, полной спиной к ней, носом влево (в Лондоне зеленого света особенно не ждут, не Германия). Во всех туристских местах, правда, на мостовой огромными буквами написано *Look right, Look left*, но кто же читает. После этого всякий раз уже вертел головой во все четыре стороны (первый признак приездего, как мне объяснили).

А к 5 часам Марго везет меня (взявши, надо сказать, изряднейший запас времени) на вокзал Кингс Кросс, чтобы отправить в Кембридж. На вокзале порядочная неразбериха, за 15, потом за 10, потом за 7 минут до отхода поезда платформа еще не объявляе-

на. Мне что — я в Англии, что в Англии может случиться неправильного? А вот Марго почему-то нервничает: «Ты постой здесь, никуда не уходи, а я еще схожу, попробую узнать. После тэтчеровской приватизации железных дорог здесь уже ничего нельзя понять и ни на что нельзя твердо рассчитывать». Между тем толпа перед стендом сгущается и начинает тоже заметно нервничать. За 4 минуты до отхода объявляют платформу и толпа бросается вперед, толкаясь и с пробежками, уже совершенно как в российской глубинке. Но поезда на перроне еще нет. Минуты через три все-таки приходит. Сажусь, и Марго с видимым облегчением машет мне рукой и уходит. Нахожу себе место, взволакиваю сумку наверх и тут слышу по радио — непостижимо, как удалось понять сквозь вокзальный гвалт: «От этого поезда пойдут только первые четыре вагона». А я примерно в восьмом. Не поверил бы своим ушам, но тут люди вокруг начинают вскакивать и выбегать из вагона. Выбегаю со всеми — и к передним вагонам. И тут двери плавно закрываются. И поезд тихонечко трогается. Огромная толпа осталась на перроне. Большинство стоит в законопослушном смирении; но кто-то все же вскрикивает и даже свистит (ощущение — не знаю, верное ли, — что это в основном люди не англосаксонского вида). Успеваю отчетливо представить себе, как встречающий меня Саймон Франклин недоуменно звонит Марго и та говорит ему, что под присягой может подтвердить, что я сел в этот поезд. Но вот вдруг поезд замедляет ход, останавливается — и открывает двери. На то, что после этого четыре вагона забиваются до отказа, роптать уже никому в голову не приходит.

Почти весь Кембридж — это такие себе крепости-монастыри и парки. Крепости-монастыри — это и есть колледжи. Каждый колледж — замкнутый мир со своей «часовней» (chapel), холлом-рефекторией, палатой магистра, надвратными башнями и проч. «Часовня» King's College — одна из красивейших церквей Англии, размером эдак с половину лондонского St Paul's. Баснословные, неправдоподобные по чистоте, ровности и цвету английские газоны (lawns). Право ходить по ним — драгоценная привилегия fellows. Все хотелось увидеть, как их подстригают. Удалось только один раз — уже в Оксфорде. Но англичане говорят: да в феврале какие же это lawns! Разве настоящие lawns — те, что летом и осенью, — бывают такие косматые и неухоженные! Посмотрите только, какая сейчас трава длиннющая! (Она сантиметра четыре.) Зимой ведь земля размякает, их и подстричь-то как следует невозможно.

И везде на стенах высеченные в камне списки аббатов, настоятелей, ректоров, магистров... — первый всегда тысяча двести какого-нибудь года, последний — сегодняшний. Все-таки хорошо, когда остров.

Из рассказов Саймона Франклина. В тихом благополучном Кембридже мэр решил ввести коммунизм на велосипеды: выставили на перекрестках 500 велосипедов, чтобы каждый брал и ехал, куда ему надо, и там оставлял на таком же перекрестке. Успех был полный: в первый же день разобрали все до одного. Правда, к вечеру ни одного не вернули. Не вернули и на второй день и на третий. Мэр понял, что 500 — это мало, купил еще 250 и расставил снова. Эффект повторился безукоризненно. Тогда мэр заявил в газете, что, хотя граждане, по-видимому, его

не поняли, все же замечательно то, что 750 из них теперь будут передвигаться по городу экологически безупречным способом.

В понедельник 18-го мой доклад для участников франклиновского семинара. Франклин гордо потребовал, чтобы доклад был по-русски; но подозреваю, что некоторым все-таки было трудно.

Вечером Франклин ведет нас с Трояновским на колледжский ужин в свой Clare College. Со всех сторон глядят портреты именитых членов колледжа всех веков, начиная с основательницы — Clare, богатой купеческой вдовы, отдавшей все имение на основание этого колледжа. Ритуал не хуже литургии. Профессора в мантиях. Наш добрый Франклин на глазах строжает; оказывается даже старшим по стажу и предводительствует в процессии. Профессора (и их гости) восходят вкушать на помост, студенты остаются внизу. Студентов раза в два меньше — большинство устраивается как-то иначе (а эти должны были своевременно записаться на ужин). Как нам объясняют, студенты тоже должны быть в своих облачениях, но мир уже на глазах разваливается — они этим пренебрегают. А ведь еще сорок лет назад, говорят нам, студент не имел права выйти на улицу без формы. А теперь вот выяснилось, что каждое второе правило колледжей нарушает права человека, и студенты прекрасно умеют это пускать в ход.

Профессора стоят, и некто еще более главный, чем Франклин (не знаю его чина), произносит по-латыни (из английских фонем) некий субститут молитвы — нечто очень короткое. Когда ужину положено кончиться, подается какой-то невидимый мне знак и все вскакивают — доел не доел — вполне как в сол-

датской столовой по команде старшины. Тот же главный снова произносит что-то короткое по-латыни. Процессия движется на выход и в некий зал наверху, где все энергично сбрасывают мантии — как кажется, с облегчением — и начинают почти демонстративно вести себя по команде «вольно»: разваливаться в кресле, потягивать вино и т. п.

Гость-американец рассказывает, что в Америке дети преподавателей колледжа на льготных основаниях поступают в тот же колледж. Кембриджские ахают: у них об этом нельзя и подумать — пресса сожрет с костями!

Оксфорд. Встречает Алан Боумэн — главный читатель и издатель виндоландских текстов. Лет 50, весь из энергии, дела, стремительности и какого-то едва-едва выходящего на поверхность юмора. Ноль политесов, ноль туристско-ознакомительного — сразу в лабораторию. В лаборатории бесчисленное количество фрагментов папирусов из Оксиринаха (всего их около ста тысяч). А в шкафу — 67 уже изданных ими томов этих папирусов.

Показали нам церу со столь прекрасно видимым на дереве текстом, что я спросил: а откуда вообще известно, что это было писано по воску, а не прямо по дереву? Говорят: обычно отличить можно — остаются, например, небольшие пятнышки воска. Вот вам и теория Поветкина о том, что под воском никаких следов писала не остается.

Спрашиваю Боумэна: «А у вас встречается под воском несколько записей одна поверх другой?» — «Да, бывает и две и три». — «А что делать нам, когда не три, а десятки!» — Почти без улыбки: «Ну, тогда это немного сложнее».

Спросил его также, как было дело с той виндоландской черой, с которой смыли сохранившийся воск (с текстом на нем). «Да ведь не мы же это сделали, — отвечает, — это ляпсус археологов». Выходит, и на англичан бывает такая проруха. Но детали спрашивать вроде бы неудобно.

«А нельзя ли посмотреть виндоландские записи на деревянных пластинках?» — «А вот этого уже нельзя: все в Британском Музее». Между прочим, дерево, из которого они сделаны (кажется, и черы тоже), — чаще всего береза или, как у нас, липа.

Трояновский сразу же вписался в обстановку лаборатории, мгновенно оказался на приятельской ноге со всеми работающими там молодыми англичанами; легко говорил по-английски.

Среди этих работников маленькая китаянка Сяобо Пань, на вид настолько похожая на школьницу, что сперва было непонятно, зачем она вообще здесь. А оказалось, что она-то и есть главный специалист по обработке сканированных изображений. И тут же согласилась попробовать обработать файлы Трояновского, раз уж нет возможности по полной программе снять оригинал. Я спросил, сколько дней или недель ей на это потребуется. — «Смогу сделать не раньше, чем завтра к 14 часам».

На мой доклад (во вторник 19-го) пришли Мэри Мак-Роберт, Шеппард, Вера Коннова. Было даже сколько-то студентов. Всего, пожалуй, человек сорок. Поскольку Боумэн и его люди никак со славистикой не связаны, рассказывал главным образом об общих проблемах чтения наших текстов; в особенности же о кодексе и о трудностях со скрытыми текстами. Английский язык, столько лет лежащий у меня без живого употребления, конечно, подзаржа-

вел и стал малость смахивать на Basic; но по ходу рассказа дело пошло легче, особенно когда пришлось поторапливаться, чтобы не затянуть сверх положенного. Однако уж после доклада остро захотелось расслабиться — с кем только возможно, говорил по-русски.

Мэри Мак-Роберт понравилась необычайно; и слушательница прекрасная. По-русски говорит совершенно чисто (про Франклина уже не говорю — у этого русский язык феноменальный).

Поселили в Christ Church. Это по всему — колледж, да еще богатейший. Ан не так просто: в названии слова College нет — это Christ Church и всё тут. Такая особая привилегия — быть вне классификации. Здесь students — это то, что у других fellows; а то, что у других students — здесь undergraduates. Вообще в разных местах замечал явное сопротивление любой универсальной классификации, стремление не клеточку в системе занять, а изобрести и сам статус, которого ни у кого больше нет.

А по виду и по ощущению — дворец из декораций к Гамлету. Вместо дверей там и тут огромные сквозные проемы с арками, ведущие из одного средневекового холла с потолком под небесами в другой. И для завершенности мизансцены сечет мощный косой дождь, и в проемы врывается адский ветер, отшвыривая тебя назад.

Вера Коннова заботится о нас всесторонне: кормит, поит, выгуливает по городу. Привела в pub «Eagle and Child» (так надо понимать, Ганимед), где завсегдаем был Толкин; в его компании это называлось «Bird and Baby». Показала Бодлеанскую библиотеку.

Лондон. Как попал в Британский Музей, так почти и не вылезал — ходил каждый день. Бесплатно, поэтому масса народу, который просто вольготно проводит здесь время, тем более что множество мест, где можно закусить, — за столиками сидят сотни людей. Тут же всякие хэппенинги. Сидит, например, на широкой главной лестнице индуска, вяжет на спицах размером с копье разноцветную шерстяную дорожку шириной метра в полтора и длиной уже метров двадцать. Дорожка живописно стекает по лестнице вниз этажа на два, и со всех сторон вокруг этого, как пчелы, фоторепортеры и просто зеваки.

В центре гигантский купол читального зала. Главная библиотека теперь уже отселилась, и читальный зал, как гласит объявление, впервые открыт для всех. В нем резвятся дети, сидят за какими-то журнальчиками домохозяйки и т. п.; но подавляющая часть мест свободна. По внешнему периметру вверх до поднебесья полки: «25 miles of shelves». У входа стелы с именами знаменитых читателей. На самом верху второй стелы мне бросается в глаза: Maxim Maximovich Litvinov. «Из всех своих достижений в жизни это он, конечно, ценил бы выше всего», — сказала мне потом Татьяна Максимовна.

А сам музей устроен непревзойденно. Нигде не видал так разумно организованных экспозиций и так талантливо и нескучно сделанных пояснений: написано так, что поймет и школьник, и в то же время вполне корректно и совершенно осмысленно и для специалиста. Нашел стенд Виндоланды — прекрасный. Рядом с каждым подлинником одна или две его фотографии в различных специальных лучах, где текст виден яснее. Далее тот же текст, воспроизведенный

печатно. Далее перевод. Далее комментарий. И обширные комментарии к стенду в целом. Кто захочет, может за час-два узнать про виндоландские документы почти все существенное.

Нашел и церы — римские (из Англии) и эллинистические (из Египта). Но ни одна не сохранилась так хорошо, как наша новгородская (и эти немного поменьше размером). Дерево во многих местах ноздреватое, изъеденное временем. От воска в большинстве случаев остались только пятнышки; а текст на дереве виден хорошо. Больше всего воска сохранилось на тетраптихе римского времени из Египта, который особенно похож на наш триптих; на воске кое-где видны крупные греческие буквы.

Остракон из Оксирина (римского периода): складыв (..., PA, PE, PH, PI, PO, ..., ΣA, ΣE, ΣH, ΣI, ΣO и т. д.) — совершенно как в грамотах Онфима, только на тысячу с лишним лет раньше.

Ну и, конечно, Розеттский камень! Хоть ты сто раз его на всех фотографиях смотри, а увидеть так, чтобы можно было тронуть пальцем, — сильное ощущение. И снова осознаешь: ведь это была массовая продукция — такая билингва должна была стоять в каждом египетском храме, и точно такие же расставлялись по всем храмам при выходе каждого очередного эдикта. И вот из этого немислимого количества сохранилась ровно эта одна...

Два вечера подряд провел у Веры Слоним — очень счастливо. На один день приехала из Брайтона Татьяна Максимовна — чтобы мне не ехать в Брайтон (как я собирался), потому что-де там у моря такой немислимый ветер, что мне не перенести. А ей в ее 84 года, разумеется, в самый раз. Она в изумительной

форме, я не заметил никакого изменения с прошлого раза — а это было десять лет назад, во время ее выставки в Москве. Только скучновато ей в ее Брайтоне после московского изобилия ярких людей. Очень душевно увиделись и как ни в чем не бывало. Просто какая-то получилась победа над временем.

25 февраля, понедельник. В 8-м часу утра Марго подвезла меня на машине до Queen's Park (откуда идет втрое больше поездов метро, чем с ближайшего к ней Kensal Green); оттуда на метро до Ватерлоо. Все другие способы пересечь Лондон в такое время, оказывается, и дольше, и ненадежнее. В 8.23 Евростар на Париж. Нож решил на этот раз не объявлять — что получится? А получилось то, что сумка спокойно проехала сквозь их магниты: или аппаратура так себе, или смотрят халтурно.

Франция

Погода везде серенькая. Немного задумался — и на горизонте уже Эйфелева башня, башня Монпарнас, Sacré-Coeur. Еще немного — и Gare du Nord, и в метро. Немного чудно: только что было лондонское метро, а еду уже в парижском. Censier-Daubenton. Вышел наверх. Легонький дождичек. Не торопясь пешком: Patriarches, Mouffetard, Arbalète, Claude Bernard, Berthollet. Людей и машин почти нет. Все серое, мокро-ватое, страшно знакомое. И вдруг в какой-то миг пронзило: боже, какой прекрасный город! вот где почти что можно было бы жить!

Побросал вещи в гостинице и на 27-й автобус — на Saint-Michel. Пошел в Ключи — сразу к La dame à la

licorne. Понравилась опять чрезвычайно. Многие дни потом еще вдруг вставала перед глазами.

Во вторник с утра крапало, а потом понемногу разгулялось, даже солнце засияло. Обошел множество своих привычных мест: Saint-André des Arts, Notre-Dame, Saint-Louis, Hôtel de Ville, Mégisserie, Saint-Germain l'Auxerrois, Pont des Arts и т. д. Мое излюбленное дерево на нижней набережной Cité, слева от моста Saint-Louis, уже совершенно зазеленело — так рано! Сена поднялась необычайно — нижние набережные частью под водой, движение по ним закрыто, стрелка Vert-Galant залита, ее деревья смешно торчат из воды. Ярко, прохладно, ветрено.

Решился зайти в crêperie на quai des Grands Augustins — в совершенно неурочное время, эдак часа в четыре. Как ни странно, получилось уютно и даже как-то трогательно. Не было ровно никого; однако же хозяин, арабско-индийского вида, вел себя так, как будто для него визитер в четыре часа дня — самое обычное дело. Откуда-то появилась не то официантка, не то жена — молоденькая француженка простоватого вида. Стала уверять меня, что отлично пойдут блины с сидром. Сидр! Нормандия! древний 1956-й год! Сеанс воспоминаний прошел превосходно.

Вспомнил, кстати, что у меня есть дело в Сорбонне — зайти в Ecole Pratique des Hautes Etudes заплатить членские взносы в Société de Linguistique de Paris. Подхожу со стороны rue de la Sorbonne — вход перекрыт, стоит военный, примерно сенегальского вида: «Предъявите пропуск!» Объясняю свое дело — ни в какую! Решил поискать других лазеек. Захожу со стороны rue des Ecoles, напротив Монтеня — и тут такой же сенегалец! Начинаю объясняться с этим. Говорит по-французски так, что я по сравнению с ним

Монтень. «Пропустить не могу». — «С каких же это пор, — спрашиваю, — на входах в Сорбонну стоит военный контроль?» (потом уж я и сам сообразил, с каких: с 11 сентября). Не моргнув, отвечает (и видно, что сам свято в это верит): «Всегда так было!»

Заглянул в Ecole Normale. Вход, слава богу, пока еще без военного контроля. В списках и объявлениях на стенах знакомых имен уже практически нет. В бассейнике во внутреннем дворе вода такая мутная и засыпанная листьями, что я в первый момент даже решил, что красных рыбок — les Ernests — уж больше нет. К счастью, постепенно все же проявились: сонные, но есть.

Вечером в гостях у Жана Метейе. Он первый год как на пенсии; но все же сохранил за собой два часа занятий в неделю в Сорбонне. Вот линия жизни прямая и прозрачная как стеклышко: с первого дня работы после Ecole Normale до последнего на одном и том же месте — преподавателем греческого в Сорбонне. Совершенно без карьерных амбиций — так и не стал защищать диссертацию, которая открыла бы путь к профессорству. Из нескольких квартир, которые сменил за целую жизнь, все, кроме одной, не дальше 500 метров от Ecole Normale. Поразительно: 45 лет назад он как-то взялся мне описать, с насмешечкой, конечно, всю свою будущую жизнь. И это было в точности то, что и совершилось! И трудно представить себе человека более мягкого, доброжелательного, заботливого и в то же время спокойно оптимистического, ироничного и не грызомого решительно никакими комплексами.

Перебрали весь выпуск Ecole Normale приема 1955 года (к которому как бы условно приписан и я). Почти все вышли в прошлом году на пенсию. Даже

библиотекарем Ecole Normale вместо нашего милейшего Петиманжена теперь некая дама. Про Ажежа что-то больше не слышно; но тут беда еще и в том, что на телевидении и в тому подобных сферах мода на лингвистику ныне уже прошла.

А вот мой энтузиазм в рассказах о том, как меня хорошо принимали в Англии, вызвал одни только усмешечки. «Я вижу, ты забыл первейшее правило, — издевательски-театральным тоном говорит Жан, — что если тебя обласкал англичанин, то думай, пока не разгадаешь, какой коварный план он задумал у тебя за спиной». Я сразу же вспомнил, как в Англии на вопрос «Вы теперь возвращаетесь в Москву?» мне доводилось беззаботно отвечать «Нет, я сейчас еду во Францию» — и наступало тяжкое молчание, как после самой вопиющей бестактности. Так что всю душевность сердечного согласия (*Entente Cordiale*) испытал, что называется, прямо на себе.

В среду с утра в Лувр (ведь во вторник он был закрыт), хоть и жаль уходить с улиц при таком праздничном, рассиявшемся солнце. Ассирия, Иран, Фаюм, архаичная Греция. Увы, в Лувре острый недостаток средств, уволена часть зрителей, и поэтому в каждый день недели открыта только какая-то часть залов — по очереди. Чтобы гарантированно увидеть какой-то конкретный зал, нужен не день, а неделя.

Спросил, есть ли у них в музее церы. Отвечают: по крайней мере в экспозиции точно нет.

А к вечеру уже в Лион. Как выяснилось, Ремо Факкани в последний момент от участия в лионском коллоквиуме таки отказался — совершенно так же, как с приездами в Новгород.

Докладывать пришлось два дня подряд — в четверг 28-го (для всех желающих) и в пятницу 1 марта (на коллоквиуме).

Довелось хлебнуть участия в так называемой профессиональной беседе — когда на классическом западном уровне взаимного доброжелательства обсуждаются коллеги со всего света (в данном случае лингвисты). Узнал, что в 1999 г. умер Мартине. Услышал славную дозу дурного про Хомского, Якобсона, Мартине, а затем и едва ли не про всех сколько-нибудь заметных наших. Стали расспрашивать меня, где на Западе я преподавал или читал отдельные лекции. Я по неосторожности отвечал простодушно, но все-таки перечислял не всё, стараясь подавить в себе мелкую гордость от того, что список получался большой. Наиболее активный из обсуждателей откомментировал так: «Ну да, конечно, ведь в России зарплаты близки к нулю. Что же удивительного, что русские соглашаются на любую работу».

Малоприятный рекорд: выяснилось, что я был в Лионе раньше, чем почти все участники коллоквиума родились, — в 1956 году. Особого шарма у Лиона не заметно. Но он просто пухнет от богатства: улицы широченные, мосты огромные, дома вычищенные, трамваи и поезда метро как елочные игрушки — сияющие свежей полировкой, без единой молодежной надписи; станции метро больше похожи на московские, чем на парижские; метро бесшумное (на огромных шинах) и без водителя — можно забраться в нос первого вагона и испытать бесподобное ощущение, что это как бы ты ведешь поезд по туннелю.

Гуляли по городу с Мариной Бобрик. Сильнейшее впечатление — галло-романский музей. Он вписан в

тот же склон нависшей над городом горы, что и два римских театра, которые хорошо сохранились и образуют вместе с музеем единый огромный музейный комплекс. Сам музей дышит все тем же городским богатством: невероятно просторен, экспонаты стоят свободно, как в парке. Гора архитектурно использована так, что вошедший в музей начинает двигаться по легкому покату вниз и продолжает это движение, нигде не встречая лестниц, по всему огромному спиралеобразному серпантину музея. Такой себе спуск в подземное царство — как в фильме «Черный Орфей». В конце пути посетитель оказывается уже на много этажей ниже его начала — где-то у подножия горы.

Издали заметил огромную (примерно метр на полтора) надпись на бронзовой доске и закричал: «Такой красоты надпись я еще не видал никогда!» Подходим и читаем: «*la plus belle de toutes les inscriptions romaines qu'on connaît*». Бронза, а на ощупь как полированное дерево или кость: вот оно откуда, «*aegere penitus*»! Вот как изумительно бронза может иногда сохраняться; а то ведь часто приходится видеть в музеях бронзу, изъеденную временем, с цветными разводами окислов. Каждая буква величиной сантиметра два, врезана в металл на несколько миллиметров. Идеальная антиква, разве что летящие вправо длиннющие хвосты от Q несколько маньеристские. И просто трудно себе представить, как можно было достичь такой безупречной устойчивости начертаний без штампа, вырезая каждую букву по отдельности. Текст — речь императора Клавдия (родившегося, между прочим, в Лионе) о необходимости предоставления мест в римском сенате главам галльских общин, произнесенная в сенате в 48 г. н. э. (точнее, вто-

рая ее половина, поскольку верх надписи утрачен). И эта речь есть у Тацита! Только Тацит перевел текст, по своему обыкновению, в косвенную речь, а здесь он в подлинном виде. Доску нашел в своем винограднике лионский винодел в 1528 г. А уже в 1529 г. ее купили у него как антикварную ценность за 50 ливров. Боже мой! Это уже в то время! Это вместо того, чтобы перелить на пушку!

А вообще захотелось запереть в этом музее Фоменко, скажем, на неделю — пусть бы только ходил между всеми этими вещами и никуда не мог от них спрятаться...

После одного из заседаний сидели в холле гостиницы, требовали от меня рассказов о лингвистической жизни Парижа в 1956–57 году. Рассказал среди прочего о семинаре Рену, о том, как я назвался лингвистом, а он мне ответил: «Не может быть — вы же хорошо говорите по-французски. Мой учитель Антуан Мейе, как вы, вероятно, знаете, оставил труды по десяткам языков; но ведь он не мог говорить даже по-английски!» Тогда Сильвен Патри рассказал еще одно такое же изустное предание. Мейе ездил читать лекцию в Лейпциг; после лекции должен был возвратиться в Париж, но не смог — просидел на вокзале всю ночь, потому что не знал, как сказать по-немецки то, что говорят кассиру, чтобы купить билет. (Не знаю уж, кто спас его наутро.)

Мне думается, Мейе подозревал, что какой-нибудь матрос, зная три-четыре слова (или даже не зная ни одного), успешно решил бы и не такую жизненную проблему; но ему было легче просидеть целую ночь на вокзале, чем так уронить идею бесцен-

ности и незаменимости языка. Во всяком случае, я знаю за собой немало эпизодов совершенно такой же структуры, пусть с несколько меньшими жертвами, чем ночь на вокзале.

«И вообще, — заключил Сильвен, — у нас не испытывают никакого восхищения перед полиглотами, их воспринимают скорее как клоунов». («У нас» надо понимать как «во Франции».) И снова зашла речь все о том же Ажеже, великом полиглоте.

Потом еще долго сидели с Ирой Микаэлян, говорили про Экс, где она теперь основательно осела, про Луи Мартинеза, про Анюту, про разные дела минувших дней и нынешних. Очень подбивала меня взять да и отправиться на вокзал — заехать на один день в Экс, благо близко. Но не сложилось: слишком и без того велика у меня программа странствий.

3 марта. Лион – Франкфурт – Геттинген (10 часов пути в двух поездах).

Швейцария

10 марта 2002. Вечером поезд из Геттингена на Карлсруэ, оттуда ночной на Милан. Между прочим, даже и в нынешнюю шенгенскую эпоху в ночном поезде проводник забирает у пассажиров паспорта. Поставил будильник на 6.00, но встал за 10 минут до этого. За окном Беллинцона. Еще темно. Стою в тамбуре. Начинает прорисовываться линия гор. Потом и долина чуть светлеет. Горы приобретают тело. Россыпи малых огней по долине: дороги, деревни. Немыслимо красиво, волшебно, Метерлинк, *paradiso terrestre* в момент просыпания.

В Лугано поезд приходит с опозданием на 10 минут — уже почти совсем рассвело. На перроне Лена. Стоянка примерно 40 секунд. Происходит сцена из шпионского фильма вроде «Семнадцать мгновений весны»: на фоне картинного альпийского пейзажа за секунды стоянки, не сходя с подножки вагона, без слова пояснения один передает другой плоскую сумочку. Одна-две фразы — и поезд трогается. И в тот же миг в шпионском фильме эффектный поворот — из глубины тамбура раздается насмешливый русский голос: «Ничего!» Вздрагиваю, прежде чем осознать, что ухмылка тертого на дорогах Европы проводника, который, оказывается, стоял за спиной, значит только то, что он доволен, как он ловко передразнил последнее слово русского (паспорт-то он видел). И что на подозрительную передачу компьютера в Швейцарию ему наплевать. А я ведь отлично помню, как сколько-то лет назад у нас с Леной арестовали компьютер на итальянско-словенской границе в Villa Opicina (и он в конце концов сгинул) — чтобы не случилось подрыва оборонной мощи Италии.

Неправдоподобно неподвижное зеркало утреннего озера; все горы удвоены, как карточные дамы. Тенью от гор озеро резко разделено на светлые и темные сегменты. Поезд описывает дугу, и озеро Лугано, замкнутое горами, плавно поворачивается, как блюдце, больше чем на полкруга. Еще немного и Кьяссо — Италия.

Италия

В Милан поезд пришел уже с опозданием в 35 минут; а у меня на пересадку было 20. Так что надо ждать следующего поезда на Венецию, а плацкарта пропала. На вокзале знакомая итальянская сутолока. Радио каждые несколько минут произносит мое любимое *anzichè* (если верить словарю, «скорее чем»), например: «Поезд на Турин отправится с 17-го пути скорее чем с 4-го». Пока не объявили, люди выбирают, на какой платформе ждать, по интуиции. Спрашивают друг у друга. Вдруг как легкий удар тока: слышу, как тетечка простецкого вида, выясняющая у соседей, где ей ждать, произносит что-то вроде (за точность фонетики не ручаюсь) [iu aʃrett a venetsa] «я жду на Венецию». Наконец, доходит очередь и до касающегося меня *anzichè*: пустяки, всего лишь с 8-го пути скорее чем с 9-го. Поезд набит основательно; нашел себе местечко, лишь протаскив свои сумки сквозь пять или шесть вагонов, в отсеке курящих.

В Италии мобильных на порядок больше, чем в Германии или в Англии. Так что любое человеческое сообщество все время говорит. Но что совершенно свое — это жестикуляция свободной рукой. Все, что надо выразить собеседнику, эта рука ему полностью выражает. А если зажать мобильник ухом и плечом, то можно и вторую руку пустить в дело.

За окном солнце, юг. И дорога, ах, какая знакомая дорога! Поодаль на горе контуры Бергамо. Брешия. Озеро Гарда, на этот раз без дымки, в полной яркости. Дезенцано дель Гарда, где я в свой первый итальянский приезд сошел с поезда наугад, плененный названием. На длинном мысу, вдавшемся в озеро, Сирми-

оне, где сладкие лимоны — *cedri* — и вилла Катулла. Пескьера, где озеро, полное цветных суденышек, вдруг прорывается из-за домов и подступает к самым рельсам. Верона, на несколько мгновений открывающаяся почти вся на обоих берегах Адидже. Виченца, где некогда довелось прожить целую неделю. Падуя, совсем уж знакомая. Пушкинская Brenta, узенькая и мутная, которую, однако же, ни в который раз невозможно переехать спокойно.

И вот уже две символических пушки на насыпи, соединяющей остров с материком, сверкающая лагуна, деревянные кольца фарватера, первые барки, силуэт колокольни Сант-Альвизе, контуры Мурано и Сан-Микеле, крайние дома Каннареджо, поднимающиеся прямо из лагуны, и одна за другой синие надписи: *Venezia Santa Lucia*.

На Сан-Микеле. В протестантском секторе кладбища увидел у входа чету, лет пятидесяти, с одного взгляда почувствовал: русские интеллигенты, сейчас пойдут к Бродскому. Да, пошли. Были там долго, фотографировались, немножко даже приводили там что-то в порядок. Прохладно, ярко, весенне. Как и прежде, зеленые ящерицы. Быстрая перебежка, и замерла. В этом году чуть приоткрыли проем, ведущий к воде, и стало снова немножечко видно лагуну, а если точно знать, куда смотреть, то между кипарисами еще и верхушечку колокольни Сан-Марко, которую отсюда саму трудно отличить от кипариса. На могиле на сей раз среди прочего — стихи по-каталански от некоей каталанской поэтессы, о Бродском в Венеции, уже и о Сан-Микеле, с узнаваемыми цитатами из Бродского в каждой строфе. *Letum non omnia finit*, как написано

на надгробии. Вечное соседство с Эзрой Паундом и Ольгой Радж, которых он так не пожаловал в «*Fondamenta degli Incurabili*».

Между прочим, в самых разных городах ко мне то и дело обращаются с вопросом «Не скажете ли, как пройти туда-то?». С видом ложной скромности отвечаю что-нибудь горделивое вроде «*Scusi, non sono fiorentino*» или «*Désolé, je ne suis pas d'ici*». Но иной раз и повезет — когда знаешь и можешь объяснить. Вспоминаю абсолютно театральную сцену несколько лет назад в той же Венеции: недалеко от *San Zaccarìa* меня останавливают двое — молодой человек в полном облачении еврейского ортодокса и девица баснословно библейского вида. Оба такой неправдоподобной яркости, что немедленно годятся хоть для плаката «Возвращайтесь на историческую родину!», хоть для антисемитской газеты. И спрашивают: «Как пройти в гетто?» (И ведь я даже знал, как! Да что толку, если это сорок минут ходу с поворотами и мостами без числа!)

И вот теперь, на вапоретто, идущем в Мурано, на палубе, набитой локоть к локтю, я получил самое большое удовлетворение тщеславия. На *Fondamenta Nuove* среди прочих вошла тетка, абсолютно местная, злобноватого вида, втиснулась в плотную толпу на палубе и из всех, кто оказался рядом, выбрала не кого-нибудь, а меня, чтобы спросить что-то *по-венециански*! Потом я даже примерно сообразил, что: идет ли это вапоретто на кладбище. Но в первый момент был так поражен, что и слова вымолвить не мог. За эти секунды она поняла свой чудовищный промах и явно была им потрясена больше моего: от досады аж

вся перекосилась, махнула рукой, только что не сплюнула, и повернулась задом, чтобы мой вид не напоминал ей, как она опростоволосилась и уронила в грязь свое венецианское достоинство.

В эти дни в Венеции «низкая вода», *acqua bassa*. Деревянные сваи фарватеров вылезли из воды на полметра выше обычного и выглядят жалко. Их подводные части — как обугленные спичечки: в два раза тоньше, абсолютно черные; просто физически чувствуешь, как изъели их вода и время. Впрочем, теперь уже многие из них заменены на бетонные.

Поплыл в почти неведомое туристам место — на Сан-Пьетро. Узкие улочки, завешанные поперек веревками с бельем, сувенирных лавок нет, люди — как в каком-нибудь рыбацком городке. Постепенно выбрал в более привычные места — на *via Garibaldi*. Присел на пустынной набережной — откуда-то вылезает поддатый абориген, настойчиво зовет пойти с ним выпить (не уточняя, надобно заметить, на чей счет). Уклонился и вижу тяжелое борение на его физиономии — между желанием меня все-таки уломать и венецианским достоинством. Сказал мрачно: «Неужели и правда не хочешь выпить?» — и венецианское достоинство победило. Через минуту подходят две итальянки, туристки междугороднего масштаба: «Как попасть на *via Garibaldi*?» Тут уж не отказываю себе в тщеславном удовольствии ответить вальяжно-снисходительно: «Да вы, почитай, на ней уже стоите!»

После долгого свободного шатания задумался: куда пойти, чтобы сесть за столик. Решил — на *riva degli Schiavoni*, чтобы было прямо напротив открытого простора лагуны, в десяти шагах от воды и гондол, там, где написано:

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казния
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

И так в Венеции четыре дня подряд, уезжая на
ужин и ночь в Тревизо к Ремо Факкани, а в последний
день — в Падуо к Розанне Бенаккьо. И все дни весен-
нее солнце и прохладный ветерок.

Для туристов в Венеции не устают придумывать
новые штуки, например, невиданные прежде маски с
перьями. А еще текучие часы Дали (в разных вариан-
тах); и они ходят! стрелки тоже волнистые и как-то
ухитряются ползать. И везде тысячи, миллионы му-
ранских стеклянных вещиц. И ведь красиво же, сколь-
ко ты себе ни тверди, что это-де на потребу туристам.
В каком-то из таких муранских магазинов аж оторопь
взяла: ну, допустим, мне хорошо, меня советская власть
успешно сформировала аскетом, мне решительно все
равно, есть у меня это или нет. А что же делать тому,
кому остро необходимо, чтобы у него в доме были кра-
сивые вещи! Ему же здесь, в Венеции, гибель, ему же
придется забросить все, чему поклонялся, и покло-
ниться одному лишь добыванию денег!

На piazza San Marco, среди двадцатязыкой тол-
пы и голубей. Сижу на штабеле перевернутых дере-
вянных настилов (которые лежат здесь постоянно на
предмет наводнений), случайно поднимаю глаза: бо-
же! за Пьяццеттой больше нет никакой лагуны — вы-
ше колонн со львом и ангелом все закрыто чем-то

огромным белым и красным! И оно медленно движется! Завороженно смотрю, пока не выплывает разгадка — надпись: Ikaros, Minoan Lines. Паром-сверх-супергигант размером чуть ли не с Palazzo ducale. Для наслаждения пассажиров и развлечения зевак на берегу его провели метрах в пятидесяти от набережной. Но пристать ему здесь негде — медленно уходит куда-то далеко, влево от Лидо.

Как-то раз к концу дня оказался на campo Santa Margherita. И вдруг обнаружил, что среди публики, заполняющей площадь, вовсе нет туристов. На скамейках сидят старушки и какие-то благородные средиземноморские бомжи. Мальчишки гоняют мяч. Клоун в полном клоунском облачении надувает разноцветные резиновые колбасы, вяжет из них зайцев, уточек и собачек и раздает малышам (и даже как-то не видно, где та шляпа, в которую мамыши положат какие-нибудь монетки). Девчонка лет пяти катит на трехколесном велосипеде за тетей, наезжая ей на пятки, и пристает к ней с вопросом, который, наверно, не изменился и за тысячу лет: «Quando viene la Chiara? Quando viene la Chiara?» (когда выйдет Кьяра?).

15–18 марта. Флоренция, у Франчески и Энрико. В пятницу 15-го доклад в circolo linguistico. Как и 12 лет назад, когда я здесь же, во Флоренции, читал свою первую в жизни итальянскую лекцию, назначен был стальной регламент: 45 минут. Пота не было, но не было и должного уровня стресса, поэтому иногда спотыкался, не мог найти нужного итальянского слова. Народу набралось порядочно. Донателла, Симонетта. Пришла Ванесса Прати, вся ослепительная, показала перстень: «Выхожу замуж» (а перстень — как бы

предварительный: когда дело сделано, заменяется на обручальное кольцо).

Как всегда, пошел в Сан-Марко. Побывал еще и в археологическом музее. Зашел в Санта-Кроче к Макиавелли и Галилею, обошел свои заветные точки — круг Савонаролы, челлиниевского Персея, угол Proconsolo и Oriuolo, Брунеллески, который сидит и смотрит на свой купол, третью штангу уличного ограждения к северу от Battistero и прочие. В великие музеи идти снова пока еще потребности нет — к счастью, потому что очереди совершенно невероятные.

Дом Бенвенуто Челлини на Pergola, недалеко от угла Alfani. Немножко смешная надпись: Casa di Benvenuto Cellini nella quale formò e gettò il Perseo e poi vi morì il 14 febbraio 1570/71 (... в котором он отформовал и отлил Персея и потом тут умер...).

Много гуляли по городу с Донателлой. Иногда она вдруг останавливалась у какой-нибудь закрытой двери и говорила: «Сюда непременно надо зайти!» Звонила или стучала, объясняла, что она должна показать здание гостю, — и ей говорили: «Разумеется, синьора!» Обычно при этом еще кто-нибудь вызывался исполнять роль экскурсовода, отпирал двери запертых комнат, чтобы показать, какой вид из окон именно этой комнаты, заводил в какие-то совсем уж потайные уголки.

В какой-то момент Донателла сказала: «Мне давно хочется задать вам один вопрос, но я не решаюсь...» Я сказал: «Задавайте». — «Видите ли, это вещь очень личная, ее нельзя просто так...» Я напрягся, но все же мужественно ответил: «Все равно спрашивайте». — «Тогда скажите, только совершенно честно — иначе лучше ничего не отвечайте! — вам больше нравится

купол Брунеллески или купол Сан-Пьетро в Риме?»
О, истинный дух Флоренции!

Побывал на новой квартире Донателлы около Campo di Marte — в которую она переселилась, чтобы Д'Арко мог гулять по квартире, когда он уже не мог выходить. Эффект его присутствия очень сильный. Любая флорентинская квартира, как я уже давно знаю, оценивается прежде всех прочих достоинств по тому, виден ли из окон купол Брунеллески. Из этой квартиры — виден (неважно, что совсем немножко).

Джиневре, как это ни неправдоподобно, исполнилось восемнадцать. А ведь было шесть, когда она мне объясняла, почему плачет ее кукла, когда мы вели первые беседы с Д'Арко! Хотя и похожа на себя, но именно за последний год стала взрослой. Держится очень дружелюбно. Завела даже разговор о том, почему бы мне не остановиться у них — у них-де ведь есть и отдельная комната для гостей.

Веселый вечер у Франчески и Энрико: Симонетта, Донателла, Джиневра, Леонардо Савойя со свежей из-под венца женой (которую, чтобы меня вконец запутать, зовут тоже Симонетта). Энрико — самый живой во всей компании, успевает сыграть блестящую словесную партию с каждой из дам, начиная с Джиневры. Пытаются легонько куснуть новую Симонетту на тему всем известной Леонардовой коллеги и поклонницы Риты. Но та отстреливается великолепно и сама очень охотно подхватывает эту тему. Один лишь бедный Леонардо сидит смущенный и тихий, для его деликатной интеллигентности двух таких переполненных энергией соперниц явно многовато.

Вспоминаю свой первый такой же итальянский вечер двенадцать лет назад, за этим же столом и по-

чти в той же самой компании, когда я впервые стал потрясенным свидетелем того, как из восьми сидящих за столом семь говорят совершенно одновременно (восьмой — это я). Помню, как я сказал об этом Франческе и она мне ответила: «Так ведь если ждать, пока другие замолчат, то не раскроешь рта за весь вечер!»

В воскресенье Энрико и Франческа взяли меня с собой в свой загородный дом в Сан-Леолино. Изумительная тосканская весна. Все цветет. Мягкие зеленые, оливковые и голубоватые холмы, подальше — горы, но тоже мягкие. Я по неаккуратности полагал, что мы в Кьянти. Грубая ошибка: граница Кьянти проходит в трех километрах от Сан-Леолино по горному хребтику. И здешние жители смотрят на Кьянти очень косо: видите ли, только у них знаменитое вино! а чем хуже вино нашей долины? оно даже лучше!

В 4 часа общий сбор всех жителей в таверне около церкви — празднуются состоявшиеся выборы нового правления. Собралось примерно человек семьдесят. Общий фуршет с большим количеством местного вина и множеством разнообразных пирожков и тортов домашнего приготовления. Как мне объясняют, среди присутствующих примерно две трети деревенских жителей и треть «дачников». Но как же трудно различить! И не устаешь поражаться: никакие подростки не надрались до свинства, пользуясь неограниченным доступом к вину, ни в каком углу не завязалась драка...

Понедельник 18 марта: ближе к вечеру переезд в Рим, к Боре Успенскому. И тут же пешком на *via Ripa* в гости к Николетте Марчалис, у которой в это время живут Витя Живов с Машей. Неплохо провели вечер.

Утром выходим вместе с Борей из его дома. У лифта Борю приветствует суровый мощный мужчина: «Salve!» — «Ну, римлянин да и только!» — восклицаю я в восторге от этого ожившего вдруг катулловского или цицероновского «Salve». И тут только до меня доходит: а кто же еще?

Зашли с Борей в музей восточного искусства на *via Merulana*, совсем близко от его дома. Он мне показал замечательную коллекцию скульптур из Гандхары (из итальянских раскопок, которые ведутся с 1956 г.). Это места, где прошел Александр Македонский, и в искусстве уникальным образом соединилось буддийское с эллинистическим.

Пошли дальше вниз по *via Merulana*. Тут обычная история — встречный спрашивает: «Не скажете ли, где здесь *via Lanza*?» У меня на этот счет были довольно приблизительные представления, но соблазн был велик, и я сказал: «Кажется, вверх по *Merulana* и налево». Встречный пошел себе, а Боря сказал: «Ну вот, ты уже научился в Италии вести себя как настоящий итальянец: тот ведь никогда не скажет «не знаю», а всегда куда-нибудь да укажет. По-моему, *Lanza* — это вниз по *Merulana* и направо». Я цинично засмеялся, а Боря сказал: «Нет уж, теперь пойдем вниз проверим». Проверили — улица направо оказалась не *Lanza*. Дошло до того, что достали из портфеля карту. Выяснилось, что мне повезло: угадал. «Не спешите восхищаться собой, — сказал Боря, — разве ты не знаешь, что бывают совершенно случайные совпадения?» Как-то так вышло, что потом наши маршруты раза два проходили через *via Lanza*; и я как бы невзначай бросал взор на табличку с названием, а Боря усмехался.

Прошли по Бориному излюбленному маршруту, по которому он меня уже однажды водил: San Clemente (к сожалению, было закрыто), Santi Quattro Coronati (Боря решительно достучался в закрытую дверь до дежурной монахини, и нас пустили посмотреть замечательный придел с фресками на тему «царь и патриарх», одна из которых пошла на обложку его книги), via di San Stefano Rotondo (но сама церковь San Stefano Rotondo была закрыта), дальше садами via San Paolo della Croce и вниз к Santi Giovanni e Paolo, а потом совсем круто вниз и направо к Колизею.

В один из дней зашел в Palazzo delle Esposizioni на via Nazionale, на выставку «От неореализма до «Сладкой жизни»». Ретро: конец 40-х — начало 50-х годов. И искусство, и то, как сама Италия поднимается из бедности и разрухи. Сделано хорошо. Моды тех сезонов. Афиши. Стоит мотороллер «Веспа». Множество фотографий, коротенькие фильмики. Знаменитости эпохи нашей молодости — все молодые, лучезарные.

В четверг 21-го моя лекция в Terza Università di Roma (формально у Раффаэле Симоне, фактически — у Клаудии Ласорсы) о современной русской морфологии с исторической точки зрения. Много народу — человек 45–50. Долго таскали стулья из соседних аудиторий. Люцина Геберт, Валентина Бениньи, Джованна Съедина; пришел даже Боря Успенский. На сей раз пот прошиб по всем правилам, почти с самого начала лекции, и стресс был первоклассный, так что были и страшноватые моменты, когда мир немножечко плыл; но зато уж язык болтался свободно. Было много вопросов и вообще живо. Подходили студенты, деловито спрашивали, когда я буду у них следующий раз. Симоне, сгусток амбиции и покровительственного

превосходства, который сам на лекции не был, после лекции поздравил с успехом. «Откуда, — спрашиваю, — вы можете знать, что успех?» — «Как же не успех, — говорит, — когда, как я вижу, все досидели до конца».

В 4 часа отправился на Termini встречать Анюту. Поезд из Флоренции опоздал всего на каких-нибудь полчаса, и вот уже Анюта на перроне.

Два дня гуляли по городу, обошли излюбленные места. Зашли в Villa Giulia — этрусский музей. Среди прочего — копия надписи на вазе 625–600 гг. до н. э. из Cerveteri (сама ваза в Ватикане, в Museo Gregoriano Etrusco): CI CA CU CE VI VA VU VE ZI ZA ZU ZE NI NA NU NE и т. д., а после складов — полный алфавит. Снова предок грамот Онфима, только теперь уже на две тысячи лет старше!

С двух попыток попали в киноклуб (у метро Ottaviano) на «Последнее метро». Остались довольны, но последнее метро на этом упустили. В поисках такси дошли до piazza del Risorgimento. Там стоянка, и такси действительно появлялись. Но таксисты вели себя совершенно по-московски: соглашались возить только туда, куда им самим хотелось. Пара, которой нужно было на периферию, вступала то в одни, то в другие переговоры, но безуспешно. Нам повезло: наш адрес таксиста устроил.

23-го утром выходим из гостиницы и оказываемся внутри общеитальянской демонстрации против планов Берлускони. Вокзальная площадь заполнена почти вся; оттуда шествие вытекает на via Savour. Огромное количество знамен, преобладает красный цвет. На вокзале из каждого прибывающего поезда выливается еще одна колонна со знаменами.

Около 12 мы уже в Неаполе. Гостиница «Candy» на via Carrozziери alla Posta, которую я уже освоил год назад. Вся гостиница — это последний этаж старогостарого дома. Изнурительная мрачная лестница на четвертый этаж (а по высоте — не меньше чем на седьмой). Встречает какая-то молодая женщина, которой я здесь раньше не видал. Были телефонные переговоры о том, что нужна комната для отца с дочерью; но кто знает, как это поняли хозяева — буквально или фигурально. Идем за новой хозяйкой, и я говорю Анюте, пользуясь тем, что наш с ней язык секретный: «Интересно, какую все-таки комнату нам дадут». На это хозяйка оборачивается и хамоватым южнорусским говорком: «Какую-какую — нормальную! У нас все комнаты нормальные!»

Комнату она таки отводит нам с двуспальной кроватью; ни о каких переговорах по нашему поводу явно ничего не знает. Начинаем все объяснять заново. «Ну ладно, — говорит она, — тогда идите сюда». И приводит нас в огромную угловую комнату на два света, целый зал, где стоят пять кроватей. Как мы узнали позже, это комната для артелей. Но нас вполне устраивает. По одну сторону — стена ограды Санта-Кьяры, высотой этак метров пятнадцать, по другую — внутренний дворик с висящими на ветвях лимонами. Но при этом на улице — холодина, время от времени начинают крутиться снежинки. А в комнате — никаких признаков отопления: юг же! зачем? Так что на улице плюс один и в комнате почти столько же.

Рядом с нашей гостиницей главный почтамт, громадное здание муссолиниевской архитектуры. На нем на высоте пятого-шестого этажа врезано навеки крупнейшими буквами: Anno 1936 XIV ERA FASCISTA.

Нет-нет да ощутимо дохнет чем-то отечественным — более явственно, чем на итальянском севере. Скажем, в лавке посмотрят на тебя лениво и снисходительно и ответят «этого нет» с почти российским удовлетворением. Мы пытались, например, вечером купить хлеба и в двух или трех местах потерпели фиаско: «Нет сдачи!»

В великом неаполитанском музее. Почти все время провели в громадном главном зале, куда перенесены фрески Помпей. Сапфо необыкновенно хороша.

Зал геркуланской Villa dei Papiri (виллы Кальпурния Пизона, тестя Цезаря). Под стеклянным колпаком два еще не развернутых свитка вместе с прибором для их разворачивания, который изобрел в XIX веке некий монах. Почти невозможно представить себе, что это можно прочесть: ведь они же в сущности сгорели! остался только рулон угля и пепла, приблизительно сохраняющий форму первоначального свитка. Однако же рядом на стене другой такой свиток, развернутый и наклеенный на подложку; и видно, что он вполне читается!

Сейчас в неаполитанском музее 1800 фрагментов и целых свитков из Геркуланума. Всего в этой библиотеке было около 800 свитков. Авторы: эпикуреец Филодем из Гадары (живший под покровительством Кальпурния Пизона), Эпикур, Хрисипп и другие.

24-го, воскресенье. Холод продолжается; дождь, временами переходящий в снежинки. Но выбора нет: едем в Помпеи. Южнорусская и украинская речь преследует нас в Неаполе повсеместно. Вслед отходящему поезду женский голос: «Пока, Оксаночка!»

Поезд идет вдоль залива, но долгое время просветов в застройке почти нет. Высятся небоскребы

восточного Неаполя — мини-Нью-Йорк. Вдоль пути в основном задворки фабрик. И вдруг совсем-совсем близко — Везувий! Но за вчерашний день он чуть ли не до основания покрылся снегом! Проезжаем Геркуланум. Везувий на глазах поворачивается к нам новыми боками, края кратера все время меняют очертания, две вершины наезжают друг на друга.

Помпеи. Выходит полпоезда. Туристов тьма, несмотря на ужасную погоду. Впрочем, бывают и такие паузы, минут по двадцать, когда дождя нет, даже мелькает солнышко и тогда все оживает сразу необыкновенно. Японская речь экскурсоводов раздается со всех сторон. Между прочим, некоторые из таких экскурсоводов — это не седовласые японцы, а вполне итальянского вида молодые дамы. Не зря, значит, работает Борис-Андреичев Istituto Orientale di Napoli. Стараясь бродить менее людными улицами, пренебрегая туристской обязанностью «отметиться» во всех предписанных точках и подольше останавливаясь там, где какая-нибудь стена прикрывает от зверского северного ветра. Несмотря на невзгоды, впечатление мощное. Может быть, даже легче осознать ту древнюю катастрофу, чем в идиллические моменты.

Понемногу пробираемся в сторону Villa dei Misteri. Наконец, добрались; но, к сожалению, со времени моего первого визита в 1991 году главную комнату с фресками загородили цепями. Вакханку теперь можно видеть только из дверей под таким острым углом, что воспринимаешь разве что знаменитый помпейский красный цвет, а рисунок надо восстанавливать по памяти по репродукциям.

К этому времени холод уже пробрал невыносимо. В ресторанчике на выходе из Villa dei Misteri почему-

то не было практически никого. Мы спросили только одно: «Где у вас тепло?» Завели внутрь и посадили около электрообогревателя — это у них единственная форма отопления. Это было так прекрасно, что остальное уже было неважно. Между тем накормили хорошо и, вопреки обыкновению, не терроризировали. Без малейшего колебания все вопросы официант обращал к синьоре. Синьора спросила: «А красное вино у вас есть?» Несмотря на чудовищность вопроса, не повел ухом и принес кувшинчик. Вино оказалось потрясающим. «Как называется?» — закричал я. — «Vino di Vesuvio, signore», — отвечал он с артистичным выражением сдержанной гордости. Про необыкновенное плодородие вулканического пепла на склонах Везувия, из-за которого люди там селятся, не считаясь с риском, я слышал; а теперь вот узнал, какое великолепное эти извержения порождают вино. «Берем еще и с собой», — заявили мы.

Вернулись в Неаполь еще засветло. Пробираемся улочками старого города: немислимые щели шириной метра два между высоченными домами; впрочем, довольно прямые. От неба видны где-то высоко-высоко только узенькие полоски. Между пешеходами на приличной скорости проскакивают мотороллеры и мотоциклы. Вдруг впереди чудовищный барабанный бой и какие-то литавры. Идем на звук, но звук тоже движется. Предпасхальная процессия квартала — вся улочка запружена хоругвями. Почти все молодые. Музыка на наше ухо несколько не религиозная — маршево-боевитая.

Зашли в знаменитую Санта-Кьяру. То ли предпасхальная выставка новой церковной живописи, то ли церковь уже навеки украсилась по-новому: штук

двадцать больших картин одной и той же кисти на пасхальную тему. Впечатление убойное. Христос то в виде волка, то в виде неведомого бесформенного зверя, Магдалина примерно такая же, краски нарочито грязные, Христов фаллос не забыт ни на одной картине и подан с хорошим нажимом, чтобы зритель оценил. Воистину, католическая церковь умеет не отставать от века.

25-го с утра на поезд в Салерно. Проехали снова мимо Геркуланума, Везувия и Помпей — но уже при хорошей погоде. Шапка снега на Везувии почти целиком растаяла. Море, которое еще вчера было серым и сливалось с серым небом, засияло синевой. Прорисовались острова. Сперва Иския выступала ярко, а Капри в виде туманной полосы, потом постепенно наоборот. После Помпей поезд уходит от залива и ныряет в туннели под горами Соррентского полуострова; и лишь у Салерно выходит снова к морю.

В Салерно атмосфера уже другая, чем в Неаполе — гораздо более провинциальная. Кажется, что и люди гуляют здесь по набережной иначе. Жаркий (хотя в данный момент не жарко, а только тепло), роскошный, ленивый, вальяжный юг. Неаполь отсюда ощущается уже как европейская столица.

Находим автобус на Агрополи, который идет через Пестум. Час езды через маленькие южные городки, которые так же отличаются от Салерно, как Салерно от Неаполя, и нас высаживают практически в поле: Пестум. «Так где же здесь раскопки?» Нам отвечают несколько неопределенным жестом, который примерно означает: «Да везде». (По нашему понятию, раскопки — это как в Новгороде: котлован, в нем ко-

пошатся рабочие. А итальянские scavi — это уже результат, древние здания в чистеньком виде, готовые для туристов.)

И вдруг осознаем, что действительно посреди широкого поля высятся настоящие парфеноны. Три практически полностью сохранившихся (не считая кровли) греческих храма VI–V веков до нашей эры! Это ведь еще и Перикла никакого не было! А про римлян нечего и говорить. Город тогда еще назывался Посейдония. Пестумом его гораздо позже стали называть римляне (они появились здесь лишь в 273 г. до н. э.). Один храм прекраснее другого! Особенно понравился так называемый храм Цереры (в действительности Афины), самый древний и самый стройный. Но по величественности всех превосходит храм Геры.

«О, как гаснут — по степи, по степи, удаляясь, годы!»
Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели... (Набоков, «Другие берега»).

Eheu! fugaces, Postume, Postume,
Labuntur anni nec pietas moram
Rugis et instanti senectae
Afferet indomitaeque morti.
(Horatius, «Ad Postumum»).

Вот то, что не выходит из головы у человека, который собрался в Пестум. «Смотри-ка, а вот и розы!» — вдруг говорит Анята. В самом деле, прямо в зоне scavi целые поля роз. И они уже цветут; и, вопреки Набокову, еще не отцвели. Пришлось сорвать одну на память.

В пестумском музее. Поразительная живопись для мертвых — на *внутренних* сторонах громадных

каменных гробов V–IV вв. до н. э. Этррусская традиция, которую переняли здешние греки. И ее вершина — «гробница ныряльщика». Покойный изображен в виде атлета, ныряющего в воду. «Ой, нет, — говорит Анюта, — я думаю, это он не в воду ныряет. Это, наверное, прыжок из жизни в смерть». Ищем комментарии — и находим, к Анютиному торжеству: «прыжок nell’Oceano della morte». А на боковых плитах — сцены пира, одна из которых вот уже лет двадцать как висит у нас дома над телефоном. Но какая же связь между смертью и пиром? Читаем объяснение: такая, что вино, музыка и любовь, соединяющиеся на пиру, образуют мост, пусть несовершенный, между миром здешним и миром потусторонним.

26-го утром пешком в гавань и на корабль Неаполь — Капри. Неаполь, вначале плоский, на глазах начинает подниматься и превращается в порядочную гору с дворцом на вершине. Иногда проглядывает солнце, но на небе тучи всех оттенков от белого до почти черного, отчего над морем и над Везувием странный переменяющийся, временами зловещий свет. Неаполитанский залив весь как на ладони. По его краю идут по кругу: Неаполь; лукоморье с Везувием, Геркуланумом, Помпеями, Кастелламаре, Сорренто; небольшой просвет открытого моря — и двугорбый контур Капри, который на глазах подрастает. Направо от него просвет побольше, а за ним контуры ближайших к Неаполю островов — Искии и Прочиды, таких же гористых, как и Капри. А между Прочидой и Неаполем просвета уже почти и незаметно: круг замкнулся.

Минут пятьдесят, и вот уже пристань Капри — у седловины между двумя горами. Плоского места нет вообще. Отвесность скал неправдоподобная, места-

ми скала нависает не в образном, а в полном геометрическом смысле. Значительная часть скалы голая — не сумела зацепиться никакая растительность.

Прямо напротив пристани фуникулер. Пока мы вертели головами, разглядывая скалы, вывески и содержимое ларьков, фуникулер ушел. Тогда мы купили билеты на следующий и пошли продолжать свое занятие. Подошло назначенное время. Никакого фуникулера, однако, не появилось. Пошли выяснять в кассу, тыча своими билетами. «Так вон же, — говорят, — в углу площади стоит автобус». — «При чем тут автобус?» — «Как при чем? Ведь вот же у вас билеты!» Наконец до нас дошло, что в здешней семиотической системе автобус и фуникулер различаются между собой не больше, чем, скажем, автобусы разного цвета.

Автобус оказался шириной с инвалидную коляску — как будто его хорошенько сплюснули с боков, как жестянку. Поехали, и сразу стало ясно, зачем ему стиснули бока: даже и такие два автобуса разъезжаются на здешней улице (которая пошла серпантинном прямо от пристани) лишь со скоростью двух расходящихся на краю пропасти ослов.

Проделав путь раз в двадцать длиннее, чем у фуникулера, автобус исполнил свою фуникулерную службу — прибыл на верхнюю станцию. Здесь, на единственном плоском месте длиной метров двести и шириной метров десять-пятнадцать, и оказался весь каприйский туристический бомонд. Вид баснословный: весь Неаполитанский залив под ногами, Везувий в дымке. А в самой середине перешейка между двумя горами, где дорога проходит прямо по острию ножа, открывается вид сразу на два морских горизонта — залив на севере, темно-синий, и открытое

море на юге, серебристо-дымчатое, почти сливающееся с небом.

Стали искать какую-нибудь лазейку понеприметнее. И действительно нашли! Лестница вверх шириной в метр между двумя заборами — к счастью, чаще прозрачными, чем глухими. Только табличка «*via* такая-то» позволяла надеяться, что это не просто тропинка к чьей-то усадьбе. Ни одной живой души. Среди лимонов, апельсинов, пальм и прочего парадиза взбираемся все дальше и дальше вверх. На поворотах сквозь просветы в листве проглядывает городок, лесистая гора напротив, уголки моря. Но вот кончились усадьбы, еще немного вверх сквозь лес — и вдруг открывается голый отрог скалы, откуда видно всё: обе горы острова, городок Капри внизу между ними, море к северу, море к югу. А до вершины нашей горы кажется уже совсем близко; но от нее нас отделяет вертикальная голая серо-коричневая стена. Открытое солнце и ветер. Корабль из Неаполя движется к пристани, оставляя длинный белый след по синему. Игрушечный двухвагонный фуникулерчик всползает вверх по склону.

Спуститься к пристани решили от начала до конца пешком. На одном из поворотов глаз упирается буквально в стену из бесчисленных роскошных лимонов. Срабатывает фотографический рефлекс: «Анюта, — говорю, — посмотри, какие лимоны! Надо бы снять». — «Да, надо бы, — отвечает, — только как ты до них дотянешься! Сквозь решетку даже руку не просунуть!»

На берегу немного зазевались около забегаловки — и вот уже бандитского вида хозяин почти силой усадил нас за столик. И совсем уж грубый просчет и

провал исторической памяти: заказали не два кофе, а кофе и чай. А чай в итальянском исполнении для туристов — это такой особый тест на выживаемость. На чем именно он заваривается, доподлинно неизвестно, но только не на воде. Попробовав его в свое время первый раз в кафе около Колизея, я решил, что на помоях после мытья клеток из-под колизейских тигров. Мыли, видимо, с содой. На Капри не ударили в грязь лицом и от Колизея не отстали нимало. Анюта, едва-едва приблизив один раз нос, второй раз понюхать решительно отказалась.

Возвращение в Неаполь — конец каникул. Пора в обратный путь. Поезд Неаполь – Рим, и в 21.10 мне уже предстоит отправиться с Termini обратно в Германию. Но железнодорожные шутки еще не кончились. В 21 час поезд Сиракузы – Мюнхен уже у перрона. Добираемся до моего вагона № 264. У дверей очередь пассажиров. Спокойно становлюсь в конец очереди. Лишь через некоторое время обнаруживаю, что очередь никуда не движется: никакого проводника у двери нет, и дверь наглухо заперта. Просто почти все пассажиры немцы, и им в голову не приходит что-нибудь делать, кроме как спокойно ждать. До отправления остается пять минут, у всех остальных вагонов уже никого нет — все сели. По перрону бежит запыхавшаяся дамочка: «Это вагон 264?» — «Да», — говорят. — «Уф! Повезло! Успела!» — и со счастливой физиономией плюхается в хвосте очереди на свой чемодан. Я говорю Анюте: «Иди вдоль поезда, найди хоть какого-нибудь проводника и объясни ему, что здесь происходит». Она идет и через некоторое время возвращается со словами: «Он сказал: этого не может

быть. В вагоне должен быть свой проводник, который садится в Риме. А до Рима этот вагон идет пустым». Я посылаю ее снова: «Тогда иди найди начальника поезда». И вот минуты за две до отправления она приходит с кем-то в форме, кто отпирает дверь. И без всякого проводника и без всякой проверки билетов люди начинают запихиваться в вагон.

А совсем уже в последние секунды бежит еще один опоздавший пассажир, пожилой, пузатый, с выпученными глазами, пот льет градом, вот-вот его хватит инфаркт. Поднять свой чемоданище на ступеньки он уже не может и затравленно водит глазами по сторонам. Спортивного вида немец сжалился над ним и взволок чемодан. И поезд уже пошел. Прощально машу спасительнице Анюте.

А минут через пятнадцать, вылезши из своего купе в коридор, вижу: в фуражке, в полном форменном облачении наш пузатый уже проходит хозяином по вагону: «Сдавайте паспорта!».

2003

(из поездки в Словению и Италию
в августе – сентябре)

Словения

15 августа 2003, пятница. 22.15 поезд Москва–Вена. Читаю словенский учебник. На границах всё довольно небрежно — кроме чешской. Австрийскому пограничнику рискнул сказать несколько слов на своем плохоньком немецком. Вскинул глаза и спросил подозрительно: Sind Sie deutsch? Для него плохой немецкий — значит, немец!

Вена рано утром 17-го. Без приключений купил билет на Любляну и еще успел погулять перед вокзалом по пустынной утренней Вене. До Брук-ан-дер-Мур дорога мне уже хорошо знакома. Дальше Грац, Марибор (на Драве), Сава двумя рукавами.

Через шесть часов Любляна. 39°, очередь раскаленных пустых такси на мертвой южной жаре. Все таксисты вместе поодаль в тени занимаются чем-то одесским или, пожалуй, уже одесско-балканским. С гостиницей все в порядке. Выясняется, однако, что, в отличие от Кракова, этот съезд славистов пропитанием своих участников не интересуется. Попытался купить какой-нибудь приемлемой еды, но куда там: воскресенье.

В понедельник 18 августа съезд не заседает — день экскурсий. Поехал в экскурсию на горные озера. Знаменитое озеро Блед, впечатляющий замок на огромной вертикальной скале над водой. Божествен-

ное купанье. Плынешь на спине и прямо над тобой скала с замком. «Вы не переплыли озеро? — спрашивает Даниель Вайс. — А я переплыл». Потом еще одно озеро — Бохинь, повыше. Поднялись на фуникулере еще на 1000 метров. Средневысокие, несуровые Юлийские Альпы — другой бок которых я постоянно видел во время велосипедных прогулок по Фриули.

На следующий день немного посидел на заседаниях, но Коля Михайлов довольно скоро увел на обед — с его новой приятельницей Симонеттой Сими, с Хелимским и Дыбо.

В среду 20-го с утра немного посопредседательствовал с Райнхардтом на заседании, но быстро убедил его, что он и один справляется превосходно, и улизнул в нору — собраться с мыслями и с духом. В 14.30 мой доклад. Выкроили мне добавочное время — начали на полчаса раньше и отдали время неприехавшего, так что получился целый час. Председатель Верещагин всячески благопрятствовал. Было примерно человек 130. Получилось в общем удачно. Много вопросов; замечания не агрессивные. Райнхардт: «Это не богомилы, раз есть святые». Какридис: «“Повелевают человеческими судьбами человеческие страсти” прочитано скорее всего неверно — звучит анахронично».

Красимир Станчев со мной очень дружелюбен и ласков. Гуляя по людному центру, я остановился у моста и, как и положено туристу-зеваче, бездумно смотрел на публику. Вдруг кто-то обнял меня за плечи. Смотрю: Красимир. А его спутница уже успела прицелиться фотоаппаратом и щелкнуть нас двоих.

Вечером прием по поводу наступающего закрытия съезда. Обнаружилась Жужа — приехала на один

день на свой доклад: дольше — дороже. Петер Коста рассказывает о Мельчуче; остороженько-остороженько выясняет, еврей ли я. Коля Михайлов со своей Симонеттой; она умоляет глазами при нем не пить. Не пью. Впрочем, довольно скоро становится ясно, что жертва была напрасной. Бьёрнфлатен: «Вы меня помните?» Розанна Бенаккьо, Лефельдт, Роланд Марти, Кайперт, Эккерт, Паневова, Гиро-Вебер, сестры Рождественские, Бондарко. Молодая украинка Елена Стадник, ныне в Германии. Спрашиваю о происхождении ее фамилии — в ответ смеется: «Да знаю, знаю, что так зовут вашу аспирантку!»

В четверг утром ходил послушать Жужу: «Эмиграция как смерть: Набоков “Посещение музея”». Прекрасно говорит, чуточку высокомерно. Понравилось.

На улице подходят трое: «Здравствуйте, мы из Белоруссии. Нам вчера понравился ваш доклад. Готовьте теперь, пожалуйста, доклад к следующему съезду». (Следующий съезд — через пять лет.) По дороге в гостиницу искал нищего отдать скопившуюся мелочь — не тут-то было: сытая страна! Заподозрил одного: стоял у стены — да не решился: вполне мог оказаться и добропорядочным крестьянином.

Италия

В час дня Джорджо забирает меня к себе в машину — и на запад. С нами еще чета американцев, живущих в Удине. Граница около Триеста. Итальянский пограничник долго вертит мой паспорт, любопытствует. Американка роется во всех сумках и портмоне — паспорт запропастился. «Э, да ладно, — говорит погра-

ничник, — проезжайте!» Американка в потрясении: «Нигде в мире, кроме Италии, такого быть не могло бы!»

У Джорджо в Удине. Элизы и Джакомо нет — уехали в Рим к больным родителям Элизы. Туда же поедет завтра и Джорджо. У Джорджо, как всегда, атмосфера неколебимого душевного спокойствия. Прогулялись по Удине — всё знакомо.

Ремо Факкани еще не вернулся домой из Доломитов: Манила немного нездорова и они должны еще побыть в горах.

22 августа утром идем в Институт к Наде. Она уже нашла мне место в *Fondazione Levi*. Аспирант *Ettore* (пишет о русских переводах книги *Beccaria* «О преступлениях и наказаниях») рассказывает о делах в венецианском университете, о Магаротто и Даниеле Рицци. Витторио Страды у них уже нет. Спрашиваю про Клару Янович. «А кто это?» *Sic transit...*

11.20 поезд на Венецию. Уже не могу точно считать, в который раз схожу на перрон *Santa Lucia* — получается что-то вроде 45-ый. Но сейчас начинается, по-видимому, самый длинный мой «оседлый» визит сюда, когда не надо каждый вечер уезжать на ночлег из города.

Начал с того, что купил *carta-Venezia* — билет на любые вапоретто (она на 72 часа, больше, как выяснилось, не бывает). На воде жара меньше, чем на *terra ferma*: всего 33°. Вот уже Сан-Самуэле. Перед *Palazzo Grassi* ни души, на самом палаццо ни плакатика. Это так неправдоподобно, что в первую минуту даже начинаю себя проверять: точно ли это *Palazzo Grassi*, не сместилось ли у меня что-то в памяти?

Узенькими проходиками, венецианскими зигзагами пробираюсь к palazzo Giustinian Lolin, в котором помещается Fondazione Levi. Тут тщеславие малость пострадало: пробраться-то пробрался, но осознал, что сделал это не наилучшим способом — вынесло меня все-таки в какой-то момент на campo San Stefano, а кратчайшая-то дорога идет сплошными подворотнями, без единого campo. Проиграл на этом, пожалуй, целых метров двадцать.

Дали № 11 — двухэтажный! (других нет, и этот остался каким-то чудом; в последующие дни дважды переводили из номера в номер — настолько все до упора занято). Окна на улочку calle Vitturi o Falier. Ширина 130 см. Метрах в двадцати влево улочка упирается в воду — Canal Grande. Напротив дворик размером с большую комнату. Все окна задраены. Из живых существ во дворике только ободранный кот и ободранная кошка. «Кс-кс», естественно, не понимают. Посреди дворика какой-то столб в метр вышиной. На нем-то и возлежит неподвижно кот. Кошка лежит внизу, смотрит снизу вверх. Такая себе иллюстрация того, что для западного мира Венеция — это уже почти Восток.

Есть, увы, и пресловутые венецианские комарики.

Отправился на Лидо, отыскал между множеством частных пляжей spiaggia pubblica, влез в море. Вода по ощущению просто горячая! А соль разъедает глаза так, что сразу стало понятно, зачем прямо на пляже стоит заведение под названием душ.

Отдыхал от кипяточно-солевого удара уже на Riva degli Schiavoni, в знакомом ресторанчике. Голое желтое солнце заходит прямо над Santa Maria della Salute. Осознал, что опять сижу на белом стуле. Темнеет на

глазах, вспыхивают фонари. К сожалению, теперь в Венеции уже не все фонари таинственного венецианского фиолетоватого оттенка, а на части улиц простежки желтые.

Просидел до черной ночи, домой плыл кружным путем через Джудекку и Дзаттере. Непривычные ночные вапоретто, почти пустые, проходят по черной воде как светящиеся призрачным светом таинственно недоступные чужие миры. Как светящиеся окна ночного дальнего поезда глазами мальчишки на глухом полустанке, только еще загадочнее. Над черным *Vasino di San Marco* высоко на востоке огромный оранжевый Марс.

Суббота 23-е. Прошел нестандартным путем по закоулочкам до Манина, потом к театру Гольдони (который оказался закрыт до октября), потом на север, через *Gesuiti* к *Fondamenta Nuove*. Оттуда на Сан-Микеле. Знакомые ящерицы. Могила Бродского уже ухожена: цветы и свежие и постоянные. Миска авторучек. Разные мелочи. Мерзавчик вроде бы водки — на этикетке «Россия СПб». И теперь уже непромокаемая (по замыслу, не на деле) папка писем. Большинство по-русски. Есть отпечатанные на принтере — эти не стал читать: не верю, что они адресованы мертвому, а не живым. Чье-то полусумасшедшее письмо сразу на четырех языках: английском, итальянском, испанском, латыни. Явно мужское: всё сплошь про себя. Женские письма есть хорошие, краткие. Одно: «очень хотела написать Вам и вот не успела». Другое: «перед тем, как отправиться к Вам, долго ходила по дворам вашего дома». Третье: «простите нас».

И уже началось: «здесь были Таня и Коля» (точные имена не помню).

И вдруг немыслимая мерзость — лощеный официальный бланк съезда славистов в Любляне, а на нем: «Дорогой Иосиф Александрович! Мы, участники XIII Международного съезда славистов, приехали сюда, чтобы выразить Подпись: Черткова (и еще какие-то). Дата: 22 августа 2003 — это же вчера! Вспомнил, что на съезде и в самом деле была запись на экскурсию в Венецию — «для тех, у кого есть виза». Рука рванулась выхватить и выбросить к свиньям. Однако же остановился: не мне брать на себя роль судьбы по морали, да еще и судебного исполнителя. Разве у меня откуда-нибудь есть право тут распорядиться? В сущности даже и право это читать сомнительно. Оставил как есть.

Не знаю, что случилось с прежними письмами: их уж ни одного нет.

А в общем-то скоро, наверное, в московском светском разговоре будет общим местом: «А вы уже съездили в Венецию написать записку Бродскому?»

Долго сидел потом у водяной колонки уже у католиков (Бродский-то ведь в секторе *acattolici*). Тихо безмерно. В тени даже и не жарко. Полоска какой-то душевной тишины и отсутствия страдания. По некоей философии, = счастья. От кладбища почему-то совсем никакого макабра. Впрочем, обставлено здесь всё совершенно сознательно именно как парадиз — буйство цветов, громадные тенистые деревья, простор, кругом великолепные блистающие на солнце дворцы мертвых. Венецианские покойники почивают в не меньшей роскоши и холе, чем армянские. На стелах нередко рядом с именами покойных выбиты имена еще живых, которые уже забронировали здесь себе местечко.

Наконец, всё же встал и отправился к выходу. Но решил пройти не прямо, а через церковный двор. И слышу: экскурсоводша что-то объясняет трем десяткам французов. Молодая, красивая, ярчайшей итальянской внешности, а французский язык — как природный (что у итальянцев крайне редко). Подумал даже: может быть, всё-таки француженка? Но куда там! — руки так и летают, аж вместе с плечами, глаза сверкают. У французских солидных дам от нее, наверно, в глазах рябит и начинается головокружение.

Засмотрелся и заслушался. Рассказывает про то и про сё, про чуму 1630 года и т. д. И вдруг: «но самые знаменитые люди этого кладбища — русские». Два слова про Дягилева и Стравинского — и переходит на Бродского. И рассказывает про него минут пятнадцать: «величайший поэт 20-го века...». Поразительным образом ничего в общем не перевирает, никакой чепухи не несет. И вдруг: «а теперь я почитаю вам отрывки из прозы Бродского». Оказывается, что книжка, которой она всё это время размахивала — для полноты жеста — перед физиономиями французских дам, это «*Acqua alta*» Бродского по-французски. И читает куски про Венецию, про Сан-Микеле, про Стравинского, про вечных отныне соседей Бродского — Ольгу Радж и Эзру Паунда...

Набрался духу, улучил момент, подошел к ней и сказал: «Простите, мадам, я русский, я под сильным впечатлением от того, что это кладбище, которое сперва вообще не хотело Бродского принять, теперь уже научилось им гордиться». Она: «Что значит, что вы русский?» Не верит, решает испытать — переходит на русский (довольно неплохой, но всё же с легким акцентом): «Вы говорите по-русски?» — «Говорю». —

«А где вы живете?» — «В Москве». Переходит обратно на французский: «А почему же вы тогда так говорите по-французски?» — «А это уже другая история», — отвечаю (ужасно чесался язык ей сказать: «Ну ведь вот вы же, мадам, тоже эвон как говорите по-французски», — да всё-таки постеснялся ей так нагло тыкать в физиономию ее итальянскость).

«Дело в том, — говорит, — что я очень люблю Бродского. Я вам не поручусь, что другие гиды рассказывают о нем столько же, сколько я». Но тут, к сожалению, французские дамы уже стали проявлять мелкие признаки того, что, по их понятию, экскурсоводши не для того находятся на работе, чтобы разговаривать с кем попало. Извинилась и повела всё стадо, куда им положено. А я уж за ними не пошел.

Вышел на пристань, решил: поеду на первом вапоретто, куда бы он ни шел. Выпал вапоретто, возвращающийся в город.

Север Венеции, за вычетом двух-трех размеченных туристских трасс, — особый мир, где даже итальянского языка совсем мало: в основном венецианский диалект (увы, очень плохо понятный).

Вечером занесло на концерт в Сан-Видале: Вивальди «Le quattro stagioni» — в память об Ecole Normale и о визите в Комаровку к Колмогорову.

Воскресенье. Отправился в универсам Standa (ныне Billa) за едой. Набрал того и сего в корзину, пошел к кассе и зашатался: очередь — просто советская! Что делать?! Разнес всё набранное обратно по полкам и подлез под входной турникет, чтобы выбраться наружу: заметил, что именно так делают венецианцы — свободный проход мимо кассы с пустыми руками «на

честность» у них, похоже, не популярен. Остался без еды, зато соблюдает гонор: не для того же я в Венеции, чтобы стоять в получасовой очереди.

Бродил. Зашел в San Zaccaria. Проповедь. Так чеканно и просто, что всё до изумительности понятно, как когда-то речь папы у Колизея. О том, что вера первичнее знания: Петр сперва поверил, потом познал. Слушателей почти полные ряды стульев. Но что это? Проповеднику прислуживает южная красотка лет двадцати, в чем-то красном с белым, руки до плеч голые. (Надо, правда, признать, что сам проповедник полностью одет.) Подает ему вино, еще что-то — составляется жертвенная чаша. Улыбается при этом не менее завлекательно, чем официантка на дипломатическом приеме.

После этого на кафедру вылезает какая-то ханжеского вида тетка и начинает руководить всеобщей молитвой. Так что и здесь католицизм не отстает от века.

Закат солнца просидел в кафе близ Гарибальди, у начала Садов (Giardini), прямо напротив роскошных яхт и могучих кораблей.

Понедельник. Потребовался банкомат — и нигде его не видно. Стал искать без всякой географической идеи, абсолютно наугад: налево, направо, прямо, налево — куда нога ступит. И вдруг прямо над ухом: «Андрей! Ты что здесь делаешь?» Оборачиваюсь: Клара Янович. «Да, — говорю, — город маленький!» — «А где Лена?» — «Она не может оставить матерей, им 95 и 93». — «Это что! Вот моей свекрови 101, бодра, с хорошей памятью». Поговорили про память, я пожаловался неосторожно на свою. И тут Клара вдруг останавливается, смотрит мне в глаза и с комсомоль-

ской прямоотой: «Послушай, а ты помнишь ли, как меня зовут? Или стоишь, разговариваешь с кем-то, никак не вспомнишь, с кем?» Вот уж повезло так повезло: помнил!

Рассказала про Аверинцева. Он делал 5 апреля доклад в итальянском сенате по приглашению председателя сената философа Рега. А в конце апреля приехал в Италию снова по приглашению Витторио Страды. Инфаркт произошел 3 мая после доклада в Ватиканском совете, там же. Российский посол Спасский (внук Булганина) всегда очень его ласкал, но тут сказал: 9000 евро на вертолет для его транспортировки у посольства нет. Но дошло до Рега, и тот, как только узнал, немедленно выслал военный вертолет за счет сената для перевозки в Инсбрук.

В музее Correr. Целый зал — монеты дожей, от Sebastiano Ziani (1172–78) до Lodovico Manin (до 1797): 625 лет без единого пропуска (я проверил). Везде имя дожа. Всего их около 80. Не пропущен и изменник Marino Falier. А какие имена! — Dandolo, Contarini, Morosini, Renier, Pesaro, Gritti, Mocenigo, Trevisan, Foscari и т. д. Каждое — это сейчас палаццо, или площадь, или улица, а то и целый канал. В списке дожей фамилии часто повторяются — картина та же, что с династиями посадников в Новгороде. И шесть веков одинаковая форма золотого цехина: справа дож на коленях, слева св. Марк. Приходит в голову та же мысль, что когда-то в лионском музее: хорошо бы запереть Фоменко в этом зале — пока не ответит, кто же и когда всё это выдумал из головы и подделал.

Зайду, думаю, раз уж я оказался на piazza, еще и в San Marco. И что же? — очередь почти до столпа с крылатым львом толщиной в четыре человека!

Ушел опять в сторону Гарибальди. Присел в кафе; вскоре рядом, составив несколько столов, расположилась компания французов средних лет — человек 10 или 12. Первые полчаса у них ушли на научнейшее обсуждение того, кто какое питье закажет. Дальше разговор уже практически не сворачивал с теоретических достоинств и недостатков питей здешних и питей в других местах. Но все же настоящее серьезное дело началось с того момента, когда официант принес счет. Каждый по очереди, включая и дам, вздрючив очки, с глубоким вниманием прочел счет целиком — как увлекательный роман. Без конца переспрашивали официанта — по-французски, разумеется, — правда ли, что то-то и в самом деле стоит столько-то. Тот, надо отдать ему должное, отвечал по-итальянски. И как потом собирали деньги... Счет второй раз пошел по кругу, и каждый выкладывал на стол монетки, выискивая в счете глазами свои строчки. Одной только лингвистики сколько на это потребовалось — ведь надо же всему знать названия...

Вторник. Довелось, наконец, попасть на scala Contarini del Bóvolo — раньше всегда либо было закрыто, либо не было сил взобраться наверх. Bóvolo (или Búvolo) — это, оказывается, вовсе не буйвол (который búfalo), а улитка (или змея?), она же спираль. Похоже, что это место, которое чтут больше местные люди, чем туристы. Посетителей так мало, что билетерша уходит со своего места и сопровождает до самого верха двух дам — одна венецианка, другая ее гостья, приезжая итальянка. Билетерша и венецианка примерно на равных правах просвещают приезжую в том, что это за лестница и почему на Венецию надо смотреть сверху именно с нее. В двух шагах — огром-

нейший куб театра La Fenice (а с земли он так зажат, что с окружающих его улиц-щелочек совершенно нельзя понять, что он грандиозен). С двух сторон, и тоже неожиданно близко — San Marco и Santa Maria della Salute.

А сама scala строилась как чистая демонстрация богатства рода Контарини. Она была пристроена к palazzo Contarini и была выведена в высоту ровно настолько, чтобы можно было на все окружающие дома смотреть сверху. «А где же palazzo?» — спрашивает приезжая. — «Ах, он теперь в таком упадке, — отвечает билетерша, — что и показать уже нечего».

По старой памяти искал на улицах ни с чем не сравнимый итальянский апельсин: когда-то достаточно было пары таких апельсинов и батона хлеба — и никакой еды не надо. Но почему-то попадались только какие-то невыразительные и безвкусные апельсины с надписью «Южная Африка», совершеннейшая пародия на тот идеал. Решил, наконец, выяснить, в чем дело, у продавца соков. И загадка раскрылась: оказывается, можно больше не искать — божественные итальянские апельсины бывают только с октября по май (а в другое время я здесь и не был). А потом — только из южного полушария!

Как обычно, зашел во Frari. Assunzione, Pala Pesaro, гробницы Тициана и Кановы. Бешеное солнце бьет справа от Assunzione. Но она так хорошо подсвечена, что все равно видна. Посидел, проверил: так же ли хорошо я ее вижу с закрытыми глазами, как с открытыми? Получается, что вроде бы почти так же.

Среда. Раннее утро, еще свежо. Посреди моего двора мои ободранные коты спят, прижавшись друг к другу.

Купил еще одну *carta-Venezia* и отправился в Сады на Биеннале. Лозунг (= подзаголовок): «Диктатура зрителя»; иначе говоря, постмодернизм не дремлет и здесь. Обошел изрядное число павильонов, но по многим в сущности просто скользнул взглядом и мимо. У большинства замысел в том, чтобы хоть чем-нибудь поразить — часто совершеннейшей чушью. Например, Япония — стробоскопические эффекты (световые взрывы); предупреждение: «Опасно для сердца!». Чехия — «Христос-атлет»: болтается на веревках подвешенная к потолку аляповатая кукла размером в четыре человеческих роста. Польша — длинный совершенно пустой павильон, все стены (кажется, 1000 м²) — из игральных костей.

Впечатляет Израиль: obsессия миллионномиллиардности человеческого муравейника. Всё — светотенью на стенах, без звука. Напоминает раннего Фоменко с его миллиардной очередью людишек. Одна из этих пантомим: в центре пустого пространства клубится и кипит плотный сгусток толпы — энергично движутся, без всякого видимого смысла, руки, ноги, головы. Вдруг от сгустка начинают отлепляться отдельные фигурки и уходить во все стороны прочь — три, десять, сто, тысячи... Всё поле покрывается мириадами уходящих. Это продолжается долго, так что ушли из сгустка, очевидно, миллионы и миллионы. Но наконец, все ушедшие все-таки скрылись за горизонтом. И мы видим, что в центре как ни в чем не бывало продолжает клокотать плотная толпа несколько не уменьшившейся величины.

А вот Германия пошла на действительно неправдоподобный по смелости шаг: выставила не что-нибудь, а огромные предельно реалистические фотографии лучших читальных залов мира.

В павильоне России сплошь живопись: нарциссический зал Браткова, не помню чьи «иронические виды Москвы» и гигантская композиция «Подводный мир» с цветистыми наядами и рыбками.

Потом, как обычно, бродил. Как свободно и полноправно чувствуют себя в городе люди в инвалидных колясках! И это при том, что, казалось бы, условия уличного существования здесь для них наитруднейшие: единственный транспорт — вапоретто, на каждом шагу мосты через каналы. Спокойно переезжают с дебаркадера на раскачивающийся борт вапоретто. Много колясок с провожатым, который везет; по-видимому, в основном туристы. У этих часто характерные выражения лиц: капризное у везомого, устало-равнодушное у везущего. Но вот на piazza San Marco встретила красивая спокойная дама в коляске, которую вез элегантный господин. Эти, может быть, и венецианцы. Они пересекали площадь наискосок, вдруг остановились, о чем-то поговорили и круто повернули к знаменитому кафе Флориан. Бесстрастно лавируя между столиками, въехали в самую их гущу, и вот они уже сидят за столиком и со стороны ничем не отличаются от прочих довольных жизнью посетителей Флориана: красивая среднемолая пара.

Ночью, проходя через campo San Stefano, услышал поразительный tenore di grazia. Уличный певец, немолодой, с изможденным лицом. Пел арии из опер, замечательно. Абсолютно не то, что певцы на гондолах, которые часто совершенные халтурщики. Публика образовала широкий полукруг, получился почти театр. Так понравилось его слушать, что, когда он собрал свои вещички и двинулся куда-то еще, пошел за ним. А он перешел на campo San Maurizio и там повторил свой концерт.

Четверг. Днем отправился на вапоретто № 20 на остров Сан-Ладзаро, к армянам. Эскурсия по монастырю. Объясняет (на отличном французском языке) армянский священник, лет 60-ти, очень толково, с отработанными шуточками (но это не раздражает). В основном просвещает публику в том, кто такие армяне. Внушает: 1) армяне — не турки; 2) армяне — не православные; 3) Армения — не часть России; 4) армянский алфавит — не кириллический (а на 5 веков старше); 5) советская Армения — одна десятая часть Великой Армении. Монастырь — мекхитаристский, т. е. армяно-католический: под папой, а не под католиком. Но католикоса они все же поминают в службе. Мехитар (кажется, V век) признал папу. «Армяне отделились на Халкидонском соборе от православия, а от пап никогда не отделялись, поскольку никогда не были с ними в унии». Такая мекхитаристская хитрость. Мекхитаристов 300 тысяч, остальные армяне под католикосом. Но в Венеции обычных армян практически нет.

Остров Сан-Ладзаро Венеция отдала армянам, притесняемым турками, в 1717 г. — потому что никто другой брать его не хотел: прежде это был остров прокаженных, «лазарет». Но они уже все поумирили. Армяне не побоялись.

Масса даров от богатых армян: мумия, трон Великого Могола (его выкупил у Надир-шаха армянин), 4 тысячи армянских (и иных) рукописей, 200 тысяч книг. Армянские листки 429 и 451 г. Целая книга VIII в. Много книг XI–XIII вв.

Сейчас здесь живет 8 человек; а еще недавно было 60.

Пятница. Неподалеку от San Zulian услышал на улице музыку, вроде бы Вивальди. Пошел в сторону усиления звука и выбрел к музею музыки. Оказалась выставка, посвященная Вивальди. Всё о его жизни, и целый день звучит его музыка. Дверь с улицы широко открыта. Десятки инструментов его времени. Он умер в 1741 г. в Вене, за 50 лет до Моцарта — в такой же бедности, как Моцарт, и похоронен в такой же (а может быть, даже в той же) братской могиле. А бывал временами и богат — и очень к этому стремился.

Оказывается, Венеция была в XVIII веке таким же туристическим местом, как и сегодня. Для аристократов всей Европы поездка в Венецию была чуть ли не обязательной. Эта публика создавала или губила репутации музыкантов и актеров. Венеция была полна музыки и театров — на всех углах. Мода повелевала. Всё должно было быть свежайшим. Музыка, написанная год назад, уже никого не интересовала. Вивальди был в этом отношении редчайшим исключением. Был честолюбив, капризен, любил деньги. Ради денег писал сотни (sic) мелодрам. Его сонаты — редко удававшийся уход от ярма повседневного изготовления мелодрам. И всё-таки не удержался на поверхности венецианской моды — пришлось уехать в Вену. Но там уже спрос на него всё падал и падал. (А начинал как священник. Но отказался от сана: не мог выдерживать долгих служб из-за слабого здоровья.)

Вечером на вокзал — и в Падую, к Розанне Бенаккьо.

Узнаю, что накануне вечером в Падуе — и даже еще уже: в основном в Розаннином квартале — прошел чудовищный, невероятный град, до 10 см в диаметре. У всех машин, что стояли на улице, крыши и

капоты как мятые простыни, стекла разбиты или выбиты. В клиниках раненые из тех, кто оказался в те десять минут на улице или рванул закрывать открытые окна. У Розанны на балконе пластиковый стол; в нем сквозные пробоины — дыры такие, что проваливается бутылка. (Вот вам эффект перегретого моря, объяснил мне потом Магаротто: четыре месяца жары без единого дождя.)

Розанна за ужином: «А что, вы теперь уже и мороженое имеете право есть?» (вспомнила, что раньше я ссылался на врачебный запрет). — «Да нет, — говорю, — просто я веду себя как человек на каникулах. Приехал, так сказать, на отдых на юг». — «На юг?! Какой же у нас юг?! Мы север!» Совсем вылетело из головы, до какой степени убогой и непрестижной стороной света является юг в итальянском мироощущении.

Суббота 30 августа. Утром Розанна везет меня в Colli Euganei, в деревню ее родителей. Жара прежняя. Сверху замечательный вид на холмы, на окружающую равнину и даже чуть-чуть на венецианскую лагуну.

Днем появляется Ремо — приехал из Тревизо. Идем с ним в кафе Pedrocchi. Бойкая красавица-официантка. Ремо ищет предлога с ней поговорить. Находит: пришла невеста в полном облачении. Pedrocchi здесь, видимо, вроде нашей кремлевской стены: ритуал требует появиться в этом сакральном месте в день свадьбы. Но с невестой какой-то господин, явно не жених: отец?, шафер? Когда они, недолго повертевшись, ушли, Ремо подзывает официантку и допрашивает ее, в чем же дело, где же жених. Ни секунды не задумываясь, отвечает: «Да, наверно, они уже прямо на улице *si sono separati* (разошлись)».

Воскресенье. Розанна за компьютер, я в город. Palazzo della Ragione, выставка «Италия 60-х годов». Не понравилось: сделано рукой человека, который целиком в русле сегодняшнего эстетизма, а не рукой любителя того времени. Зритель должен поверить, что в 60-е годы вкус к абсурду, мусору, ржавому железу и т. п. был уже совершенно такой же, как сейчас. Есть тут и Гагарин и обрывки советских газет по этому поводу, но в основном во всех углах груды предметов — тряпок, отбросов, унитазов, клещей, гвоздей и проч., сама случайность нагромождения которых и есть новое искусство.

Понравился здоровенный конь — да только он XVI века и стоит в этом зале независимо от выставок: убрать его трудненько, так и остался посреди груд авангардного искусства.

Вышел на балкон. Внизу на piazza delle Erbe у маленького кафе сидит аккордеонист — и на всю площадь разливается «На сопках Манчжурии».

Потом еще долго бродил. На термометре 33°, но такой адский ветер, что замерзал до дрожи, прятался в ниши. Собор, в который хотелось зайти бросить еще раз взгляд на святую Джустину, к сожалению, закрыт.

Вернулся к Розанне в 6 часов. И вот истинная широта ее души и способность понять темную душу другого: в этот час, когда НИКТО НЕ ЕСТЬ и это нормальному западному человеку даже вообразить невозможно, Розанна меня накормила!

Вечером идем с Розанной в гости к Луиджи Магаротто. Изумительный вид с балкона: после бога воздух чист и полностью открылась вся величественная панорама Альп на севере.

Много было речи о Новгороде. «Да, Россию все-таки Европа должна признать как родственную, — говорит Магаротто, — это не то, что, например, мусульмане-турки, которые в нашу цивилизацию все равно не впишутся».

В разговоре о детях Розанна сказала: «Мой Андреа говорит, что деньги его не интересуют». Тут уж Лиза, хозяйка, не выдержала: «О, вы дурно его воспитали! I soldi servono! (деньги полезны)».

Понедельник 1 сентября. Розанна уходит из дому раньше меня — ей надо с утра к отцу в больницу: должны появиться врачи после субботы — воскресенья. Оставляет ключи.

Успеваю на вокзал на поезд 10.07 на Венецию. В газете размашистыми буквами: «Бора в 40 узлов уничтожила суда». По дороге и в самой Венеции чудо: вчерашние горы не исчезли, а стоят четкой темной стеной на севере. Лишь второй раз за 13 лет вижу горы над Венецией.

С вокзала перешел через мост и пошел вдоль Canal Grande к западу, к тому его повороту на север, откуда открываются горы. Но от многодневной венецианской жары не осталось и памяти — холодно и пронизывающий ветер. Пришлось вытащить из сумки ворох одежды. И тут начинается дождичек и чудо горной стены на севере растаивает, как будто его никогда и не было. Умело поставленный спектакль под названием «Каникулы кончились»: Венеция любезно устраивает так, чтобы покидать ее было не жалко.

В 13.40 отправление на Вену. Край Венеции, чуть размазанный легким дождичком, отплывает назад. Поезд поддает и дальше уже летит с огромной ско-

ростью, почти без остановок. Пролетает Тревизо. И вдруг по радио: «Поезд дойдет только до Карнии. Дальше по атмосферным условиям движение нарушено. Пассажиров просим в Карнии перейти в автобусы». А у меня на пересадку в Вене 38 минут! Становится ясно, что шансы успеть на московский поезд близки к нулю. Облегчение лишь в том, что ни малейшей возможности что-нибудь изменить какими бы то ни было телодвижениями нет и можно продолжать спокойно сидеть и ехать дальше. Вот уже Удине и места прежних прогулок: Tricesimo, Tarcento, Artegna, Gemona, перевал Sant'Agnese, Venzona. Въезжаем в горы: Pontebba, Val di Resia, Carnia.

Как я потом узнал, та же самая бора, которая потопила суденышки в лагуне, разнесла линию электропередачи между Карнией и Тарвизио. Видимо, еще один эффект перегретого моря. Железнодорожники в Венеции, конечно, отлично знали, что поезд на Вену ни до какой Вены не дойдет. Но зачем же говорить неприятное пассажирам? Еще того гляди, начнут билеты сдавать.

С какими чудовищными чемоданами размером с комод путешествуют пожилые буржуазные дамы! Это советские знают, что в дороге у человека должно быть лишь столько чемоданов и узлов, сколько он может сам проволочь. Эти же живут в мире, где кругом сервис, так чего же! И вот вдруг совершенно советская ситуация: не только никакого сервиса, но и никакой информации. Крохотный вокзальчик. Никаких автобусов нет.

Как в России! А всё же не Россия: толпа не нервничает, спокойно стоит под крапающим дождиком и ветром. И люди не превращаются мгновенно в брать-

ев по несчастью, не начинают с жаром разговаривать друг с другом в самоочевидной презумпции того, что любой, к кому ты обратишься, — такой же обманутый начальством и опасющийся всего самого худшего, как и ты. Напротив, на многих лицах написано: ничего особенного не происходит; со мной вообще ничего неправильного произойти не может. Дистанции между индивидами не уменьшаются. Каждый стоит себе в одиночку молча. От толпы не исходит ни гама, ни ропота, так что ее даже и толпой не назовешь.

Обратил внимание на то, как люди выходили с перрона через единственные вокзальные двери на привокзальную площадь. Образовалась гигантская очередь, длиной чуть ли не во весь перрон, но спокойная. И всё же нашлась какая-то дамочка, которая со своей сумкой на колесах проехала по свободной части перрона мимо всей очереди, притиснулась к самым дверям и вскоре-таки встряла в очередь и прошла. Ну вот, есть всё-таки среди них и такие, подумал я. А позднее, уже на вокзальной площади, дамочка снова попалась мне на глаза. Скучая в ожидании, она развернула газету и стала ее просматривать. Газета была русская.

Вдруг выкатились три роскошных австрийских автобуса с надписью «Служба перевозки железнодорожных пассажиров». Полтора часа езды до Виллаха по горным красотам. Надпись «Государственная граница» прошли, не снижая скорости. Зато надолго застряли на *pedaggio* (границе платного участка магистралей): наш водитель, везущий треть поезда людей, должен был рассчитаться с автоматом совершенно так же, как любой частный водитель-одиночка, а его карточку автомат признать почему-то не захотел —

неукоснительно выплевывал ее (эдак раз пятнадцать), как ни старался водитель ее ему подsunуть то так, то эдак. Что водитель везет людей к поезду, автомату было совершенно наплевать. Стало ясно, что это вам не государственная граница, ее так просто не проедешь. Кончилось тем, что водитель высунулся из кабины и принялся орать дальним голосом — искать каких-нибудь живых людей в этом царстве автоматов. Долго ли, коротко ли, но какой-то живой человек все же объявился. Но и он тоже денег не взял, а вместо этого сказал какое-то секретное слово автомату, и тот в конце концов согласился.

Виллах. Изящный городок над рекой (кажется, Дравой). Быстро выяснилось, что автомат был прав, когда не верил водителю, что тот везет людей к поезду. Никакого специального поезда на Вену никто и не собирался подавать, а обычный — через полтора часа. Прибудет в Вену полдвенадцатого ночи, т. е. через два часа после того, как отправится московский вагон.

Ровно так и прибыли. Походил по вокзалу, надеюсь хотя бы узнать, когда теперь будет снова вагон на Москву (этот вагон ходит не каждый день). Но куда там! Абсолютно все мертво и задраено. Иду на стоянку такси. К счастью, такси есть — ровно одно. «Не можете ли мне найти гостиницу?» Садимся. Решаю говорить не по-немецки, а по-английски, чтобы затруднения с языком были у него, а не у меня. Ему-то ведь, в отличие от меня, эти затруднения совершенно не мешают достигать жизненных целей. «Хорошо бы поблизости от этого вокзала и не слишком дорого».

О, какая наивность! В первой гостинице мест нет. Во второй нет. В пятой нет. Мы делаем все бóльшие

круги, до вокзала уже далеко. После десяти гостиниц становится известно: в городе идет ежегодный съезд кардиологов, их съехалось 30 тысяч. Шансы, что осталось хоть одно место в гостинице, ничтожны. «Ищите в пригородах или лучше в каком-нибудь городке недалеко от Вены». К счастью, таксист упорен. У него появляется даже что-то вроде охотничьего азарта. Давайте, говорит, мы с вами дальше будем заходить в гостиницы по очереди — в одну я, в следующую вы. Так и делаем. Класса гостиниц уже не разбираем. В какой-то одной, как только я вошел, мне показалось, что я в парижской Опере или в Лувре. Но и здесь дама, похожая на директоршу концерна Диора, справившись по трем внутренним телефонам, с любезным выражением отчаяния на лице сообщила, что ни одного места нет. В одной из гостиниц мой таксист получил список телефонов ста не то двухсот гостиниц Вены. Начал методически вызванивать по мобильнику: «Grüß Gott! Mein Name ist Mijatowitsch, Taxi. Haben Sie vielleicht ein Zimmer?» И тут же конец разговора. «Wahnsinn!» — и он вычеркивает еще одну строчку в своем 200-строчном списке. Пятнадцать попыток, двадцать, тридцать... «Wahnsinn!» И вот на четвертом десятке: «Отель “Президент”. Приезжайте». Надо ли говорить, что о цене уже даже нет разговора. Мчимся куда-то, бог весть куда, по адресу. Принимают! «You have a chance, sir. This is my last room». Смотрю на часы: мы проехали полтора часа. Прощаюсь с моим Миятовичем. «Вряд ли вы завтра сможете отсюда добраться до вокзала иначе как снова на такси. Можете вызвать меня и завтра, вот мой телефон». Вваливаюсь в номер и совершенно не успеваю оценить всю его невиданную роскошность — валюсь бревном.

Вторник 2-е. До крайнего предела, т. е. до 12 часов, прохладился в гостинице. Затем на такси (но всё же уже не на Миятовиче) на вокзал. Дорога длинная, так что становится ясно, сколь далеко нас занесло ночью. Дальше лотерея: когда теперь московский поезд?

Повезло безмерно: поезд есть уже сегодня! Объясню кассиру, что моя вчерашняя плацкарта пропала по вине железной дороги, а не по моей. Ухмыляется и дает понять, что если мне не так уж хочется скорее попасть домой, то можно, конечно, начать эпопею по вырыванию компенсации; придется только немного пожить в Вене и походить по инстанциям. Урок усвоен — торопливо покупаю новую плацкарту.

Вещи в камеру хранения — и в город. Сперва, конечно, в Бельведер к Климту, благо от моего Южного вокзала его просто видно глазом. Отдых души после мусора Биеннале и падуанской выставки.

Выхожу — то дождичек, то лучик солнца. Холодно; и ветер, ветер. Эх, той жары бы! В городе многое узнаётся, хоть я и недолго всё это видел: вот *Karlskirche (Borromei)*, вот *Sezession*, вот и *Kunsthistorisches Museum* — моя вторая порция крова над головой. Иду без колебаний прямо на второй этаж. Открываю первую же дверь — и как удар по глазам: целый зал Тициана. Смотрю на эти залы какими-то новыми глазами: мир молодости (моей), мир художников, которые еще не хотели мне показать каждым своим мазком, что мир омерзителен.

Везде перед картинами мягчайшие диваны, в которых утопаешь. А при картинах толково составленные пояснения, без всякого снобизма. Хотел было посидеть еще и в музейском кафе, и вдруг звонок: «Закрываем!»

На улице все так же неуютно. Добрался до района вокзала. Хорошо бы и поесть. Но в 7 часов вечера дневных кафе уже больше как-то нигде не видно, а в ресторан идти не хочется и думать. Пошел наугад по переулкам: авось что-нибудь всё-таки попадетсЯ. Попалось нечто маленькое и невзрачненькое. Внутри никого нет — ни посетителей, ни хозяев. Сажусь. Не сразу, но всё же выходит хозяйка. И после первой пары фраз вдруг говорит: «Pan rozmawia po polsku?» Все дальнейшее уже шло только по-польски — уж как сумел. Потом осознал, что в эту польскую забегаловку кроме поляков редко кто заглядывает — разве что как я, по ошибке. Заходившие ничего не заказывали, только обменивались кое-какими польскими фразами с появившимся наконец хозяином. Своим желанием поесть я, похоже, их тут несколько озадачил. Хозяйка надолго пропала; побежала в магазин купить продуктов, что ли, — думаю. Потом вдруг кричит из недр: «А не желает ли пан перед едой еще *dobrej zupy?*» И приносит огнедышащей куриной лапши (явно из ее собственного обеда). То-то славно после трех недель без супа!

Долго допытывалась, где и как я учил польский. Узнавши, наконец, что это профессия такая — языки, не скрыла пренебрежения: «А, так это что за наука — всё на одну только память! Вот физика, химия — то науки!» Напрасно мы думаем, что народный суд в наших делах не понимает.

Зашел разговор и про Польшу. «Что́ Польша, — сказала, — Польша теперь *zginęła*». Я поразился. «Ну конечно! Ведь там сейчас всем заправляют *żydzi*! Да вот я вам газету принесу!» Приносит и сует мне вырезку из газеты: «Берите, берите, это я вам дарю!» Там какие-то списки: Белецкий — бывший премьер, Бо-

ровский — маршал Сейма, Джицимский — близкий сотрудник Валенсы, и т. д., очень много. «Что вы мне показываете? — говорю. — Нормальные польские фамилии». — «Так ведь они же все rozmieniali nazwiska!» Потом уж в поезде я разглядел, что это не просто списки — против каждой фамилии есть еще и разъяснение, что на самом деле это Блюменфельд, Ротеншванц, Энгель и т. п. Указаны и источники, которыми пользовался автор. Среди них — «сообщения людей, лично знакомых со многими из перечисленных». Оказался зверино националистический листок с бешеной пропагандой против вступления Польши в Европейское Сообщество — такая себе газета «Завтра». Примечательно, что о России ни слова — значит, с этим врагом уже справились.

Выходит, что и так можно: жить в Вене и яростно бороться за национальную чистоту Польши.

В 21.40 отправление на Москву. 32 часа в пути — и на этот раз без приключений.

Оглавление

Предисловие ко второму изданию	3
От издателей	7

Из парижского года 1956–57

Год предыстории	9
Сентябрь 1956	11
Октябрь	15
Ноябрь	25
Декабрь	36
Январь 1957	40
Февраль	44
Март	49
Апрель	56
Май	64
Июнь	67
Июль	70

По мотивам старых записных книжек

1988. Германия	77
1989. Франция	79
1990. Франция	81
Италия	84
Франция	98
Италия	100
1991. Франция	104
Италия	111
Германия	116
1992. Германия	117
Швеция	117
Швейцария	119
Швеция	124

1993.	Швейцария	131
	Италия	132
	Швейцария	135
1994.	Швейцария	138
	Италия	138
	Швейцария	145
1995.	Швейцария	147
	Франция	149
	Швейцария	149
	Италия	149
	Хорватия	154
	Финляндия	161
	Швеция	162
1996.	Франция	164
1997.	Франция	165
	Испания	166
	Франция	171
	Швейцария	172
1998.	Италия	173
1999.	Италия	183
	Германия	187
2000.	Италия	189
	Из переписки во время пребывания в Геттингене	193
2001.	Из писем, посланных из Геттингена	194
	Италия	197
2002.	Англия	200
	Франция	211
	Швейцария	218
	Италия	220
2003.	Словения	243
	Италия	245

Андрей Анатольевич Зализняк

ПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕ

Подбор иллюстраций — *Е. А. Рыбина, А. А. Зализняк*
Оригинал-макет — *М. Н. Толстая*
Обложка — *Е. А. Гришина*

Подписано в печать 26.03.2018. Формат 60×90¹/₁₆
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 21,25. Заказ № 1283
Тираж 1000 экз.

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru
www.nestorbook.ru

Отпечатано в типографии издательства «Нестор-История»
Тел. (812)235-15-86